SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Е.А. Соловьев
  -
  - Глава I. Московская традиция. Детство и юность Иоанна Грозного
  - Глава II. Перемена в Иоанне. Сильвестр и Адашев. Счастливые 13 лет царствования Иоанна IV
  - Глава III. Опричнина и земщина
  - Глава IV. Последние годы
  - Глава V. Литература об Иоанне Грозном
  - Заключение
  - Источники и пособия
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Е.А. Соловьев
Иоанн Грозный
Его жизнь и государственная деятельность
Биографический очерк
С *портретом Иоанна Грозного, воспроизведенным по статуе Антокольского*

Глава I. Московская традиция. Детство и юность Иоанна Грозного

“Гений – оригинален. В оригинальности скрывается тайна его влияния, его успехов, его заслуг перед человечеством. Нет гения, который не развертывал бы нового знамени, нет гениальной деятельности, не указавшей новых путей. Оригинальность и традиция – вот две вечно борющиеся друг с другом силы, и различные перипетии этой борьбы составляют главнейшее содержание истории”.

Я нарочно начал этой цитатой биографию Иоанна Грозного. Ниже из обзора литературы читатель увидит, какие ожесточенные споры происходят еще о величии и ничтожестве Грозного как личности и как государя. “Предшественник Петра Великого, предвосхитивший планы преобразователя на целых сто пятьдесят лет” – таков Иоанн для одних. “Мелкая душа, подьяческий ум” – таков Иоанн для других. Где же истина? Привыкший к робким точкам зрения, читатель, наверное, подумает, что “истина в середине”. Середина – нечто спасительное, безопасное, вроде спокойной бухты, куда так приятно въехать после “бурного плавания по волнам исторического исследования”. Мне думается, однако, что срединная точка зрения мало приложима к характеристике Грозного. Как бы ни судили мы его, он несомненно яркая и резко очерченная личность, которую очень трудно усадить сразу на двух стульях. Но “яркость и резкость” еще не означают величия.

Чтобы быть великим, надо быть оригинальным. Был ли таким Грозный в своей государственной деятельности?

Разумеется, вся наша биография должна служить ответом на этот вопрос. Но является возможность в самом начале подготовить его разрешение. Для этого прежде всего необходимо определить *традиции* Московского государства, а затем уже сам читатель легко увидит, как далеко отошел от них Грозный и что нового внес он в жизнь.

Московская Русь сложилась и оформилась уже в княжение Ивана III. Сын его Василий мало прибавил к делу отца и, уничтожив вольность Пскова, он лишь завершил давно начатую и в главном законченную уже борьбу с вольностью вообще. Иван III и Василий – уже государи в полном значении этого слова, самодержцы. Эпоха их правления создала и как нельзя яснее сформулировала устои Московской Руси.

Нам надо посмотреть на эти устои.

Первым, важнейшим устоем является великокняжеская власть, гордая, абсолютная, не знавшая никаких стеснений и ограничений. Все иностранцы в один голос утверждают, что московские монархи превосходят своею властью всех правителей Европы, кроме только турецкого султана. Возросши под охраной и даже прямо под покровительством татарских ханов, великокняжеская власть сосредоточила постепенно в себе весь ореол, всю безмерность власти ханской. Сначала скромная, как бы скрывающаяся, она уже при Иване III начинает окружать себя придворным блеском и этикетом. Это не мысль, это внешнее выражение процесса развития абсолютизма. Является обычай "целования княжеской руки", учреждаются придворные должности, до той поры неизвестные. Великий князь – центр, глава и представитель всего государства, а не только своего удела, как раньше. Он действует за всю Русь, отвечает за ее счастье и несчастье, ведет народную жизнь по тому пути, который кажется ему наилучшим. Удельные князья закончили свое самостоятельное существование уже при Иване III. Та же участь постигла и Великий Новгород с его вечем и духом народовластной старины. При Василии отвезли в Москву вечевой колокол Пскова.

Во что обратилась дружина? Собственно говоря, в Московском государстве никакой выдающейся роли она не играла. Иван Калита и его потомки не были воителями, не любили войн и походов, храбростью и мужеством не отличались и держали себя скромно и тихо, как князья-помещики, князья-хозяева. Войнам они предпочитали дипломатические переговоры, покупку, иногда предательства. Их заботой было сосредоточить в своих руках как можно больше земель и денег.

Дружина возле них неминуемо должна была утерять свой воинственный характер, так как условия жизни не благоприятствовали развитию доблести и мужества. Но дружина, особенно старшая – боярство, не только воевала, раньше она играла еще роль княжеского советника. Эту роль она играла и в Москве. Но уже в XV веке князья значительно сузили ее. Иван III больше советовался со своей женой и дьяками, чем с боярами; сын его выказывал к советам бояр обидное пренебрежение. При нем дела решались в стороне от думы.

Все приведенные факты приобретут в наших глазах особенную ценность, если мы припомним, как медленно и постепенно входили они в жизнь. Принципы дома Калиты не поражают нас ни глубиной, ни широтой своего размаха, а скорее даже узостью. Но в конце концов они восторжествовали над всеми остальными. Случайности истории много виноваты в этом, но еще

больше виновата та настойчивость и упорство, с какой князья пользовались всяким удобным случаем, чтобы расширить свою власть и пределы.

Традиция крепла, а в XV веке торжествовала уже.

Иван Калита, его личность и политика – прототип московских князей вплоть до самого Грозного. Ничего великого, выдающегося, ничего блестящего. Природа поскупилась на краски, создавая этого князя-хозяина и князя-помещика, скупого, медленного, хитрого, неуклонно стремящегося к поставленной цели. О невозможном он не мечтал, как не мечтал о геройских подвигах и славе. Каждая копейка у него на счету. Что приобретено им, приобретено навеки. Как настоящий практик, человек маленькой действительности, он пользуется всякой ошибкой ближнего, идет на унижения, когда эго нужно, неумолим и непреклонен, раз сила на его стороне. Его борьба с тверским князем не только не говорит нам о благородстве его души, а прямо наоборот. Зато дипломатической тонкости сколько угодно. Бедный Александр и не заметил, как ловко расставили вокруг него сети и как неожиданно и безысходно попался он в них.

Все московские Иваны и Василии похожи на своего предка. В общем и Грозный похож на него, но греческая и латинская кровь, текшая в его жилах, наградила его более горячим и страстным воображением.

Московская традиция носит на себе ясный отпечаток характера московских князей. “Поместье” Калиты разрослось и стало государством, но во главе государства встали те же расчетливые, скопидомные хозяева, которые раньше заправляли поместьем. Не станет же хозяин терпеть, чтобы кто-нибудь вмешивался в его распоряжения. Не станет терпеть этого и государь московский. Когда нужно, он пользуется и боярским советом, и симпатиями духовенства, но только *когда это нужно.* Вообще же он предпочитает действовать совершенно самостоятельно.

Полнота самостоятельности возможна лишь при всеобщем нивелировании, уравнении.

К этому и сводится московская традиция.

Абсолютная власть при своем возникновении прежде всего должна была встретить противодействие со стороны местных элементов – удельных князей, веча, дружин. В каждом монастыре был свой устав, освященный веками. Новый устав, вводившийся московскими князьями, далеко не всегда согласовывался с прежними. Припомним хотя бы борьбу с Новгородом.

Московские князья, распространяя на всю Россию принципы,

которыми управлялось их маленькое поместье, по необходимости нивелировали. Они старательно уничтожали все местные уставы, все местные особенности. Для этого они пользовались, между прочим, одним характерным приемом: переселением. Оттуда, где местный дух был особенно силен и упорен, они выводили десятки и сотни семейств в Москву, а москвичей перемещали на новые места. Москвичи – люди, уже привыкшие к дисциплине, опасаться их нечего, а переселенцы, находясь под постоянным хозяйским глазом, одинаково не позволят себе чего-нибудь лишнего.

Таким медленным и верным путем были уничтожены все местные уставы. Вече исчезло, дружина обратилась в придворных слуг, во всем зависевших от личного распоряжения князя. Сам князь и его власть поднялись на недосягаемую высоту, и величие этой власти бросалось в глаза каждому, ибо вокруг было *ровное поле.*

Иван III уже настойчиво выдвигает на сцену “мизинных людей”. Василий III прямо предпочитает их боярам. Что же, они были демократами? По-моему, нисколько. Мизинные люди, во всем ему обязанные, во всем от него зависевшие, без воспоминаний о прошлом, всего лучше поддавались дисциплине. Каких бы то ни было протестов и претензий ждать от них было нечего. Стремясь к абсолютизму и сразу постигнув, что он может восторжествовать лишь при отсутствии больших и малых, слабых и сильных, московские князья ни одному сословию не давали подняться выше другого. Они боролись против всякой вольности – боярской, вольности духовенства, одной властью своей заменяли всякую власть, единым законом – разнообразие местных обычаев.

На ровном поле Руси высоко поднимался великокняжеский дворец уже задолго до Иоанна IV.

Незаметно для самого Грозного московская традиция руководила им. Но эта традиция, преломившись через призму его больного мозга, приняла и болезненную форму. Молчаливая и покорная стояла дружина у трона его отца и деда, но Грозный продолжал преследовать ее с необузданной жестокостью. Давно уже пал Великий Новгород. Грозный захотел стереть его с лица земли.

Он добился своего. Всю жизнь, все свои силы потратил он на то, чтобы доставить полное торжество московской традиции. Где же новые мехи, новое вино? Их нет. Тени прежних московских князей носятся над эпохой Грозного, вдохновляют его, указывают путь, по которому он идет слепо, не спрашивая даже себя, да нужно ли с таким ожесточением ломиться в давно уже открытую дверь?

Боярство – мой враг. Это его излюбленная фраза. Но с одинаковым ожесточением набрасывается он и на народ, и на духовенство, когда замечает или когда ему кажется, что он замечает в них попытку приподнять свою голову с ровного поля, давно уже усеянного мертвыми костьми прежних вольностей.

Всякая вольность – враг мой... Боярство – мой враг по преимуществу. Это специальное добавление Грозного, сделанное им по воспоминаниям детства.

Это детство общеизвестно, и я не имею ни малейшего желания подробно останавливаться на нем.

Грозному было несколько месяцев, когда умер его отец, и с небольшим три года, когда умерла или была отравлена его мать – Елена Глинская, супруга Василия III. Ребенок остался без надзора и руководительства. Все делалось его именем, все *могло* делаться его именем. Это было соблазнительно для честолюбцев. И честолюбие открытое, наглое, безудержное разыгралось вокруг трона, по блеску и обаянию власти своей равного лишь трону восточных деспотов.

После переворота, низвергшего Елену и ее любимца Телепнева, власть перешла в руки Василия Шуйского. Ослепленный гордостью, он хотел утвердить себя на высшей ступени свойством с государем и, будучи вдовцом лет 50-ти, женился на сестре Иоанновой, Анастасии, дочери Петра, казанского царевича. Иван Бельский попробовал свергнуть его, но неудачно, и от тирании Шуйского спасла Россию лишь смерть его. Его место занял тоже Шуйский, но Иван, про которого сам Грозный пишет впоследствии Курбскому:

“От юности единое воспомяну: нам бо в юности детства играюще, а Князь Ив. Вас. Шуйский сидит на лаве, локтем опершися отца нашего о постелю, ногу положив к нам... И таковой гордыни кто может понести?.. А казну деда и отца нашего бесчисленную себе поимаша, и в той нашей казне исковаша себе сосуди златы и сребрены, и имена на них родителей своих подписаша; а всем людем ведомо, при матери нашей у Князя Ив. Шуйского шуба была мухояр зелен на куницах, да и те ветхи: коли бы то их было старина, ино лучше бы шуба переменит”.

Иван Шуйский был груб, спесив, деспот. Корыстолюбие его несомненно, с государственной и царской казной он не стеснялся, еще меньше стеснялись его клевреты. Так, боярин А. М. Шуйский и князь Оболенский, будучи наместниками в Пскове, свирепствовали *как львы,* по выражению современников; не только угнетали земледельцев и граждан беззаконными налогами, вымышляли преступления, ободряли правых

доносителей – но и грабили самые монастыри. Жители пригородов не смели ездить в Псков; многие бежали в чужие земли.

Партия Шуйских была свергнута партией Бельских, ненадолго, однако, до следующего заговора. А он себя ждать не заставил. Иван Шуйский опять захватил власть в свои руки.

Такова фактическая сторона дела вплоть до 1543 года, когда Грозному исполнилось уже 13 лет.

Что делал Грозный все это время? Быть может, история и осветит когда-нибудь юношеские годы его царствования, нам же остается лишь догадываться, опираясь на немногие, к счастью, несомненные факты.

Грозный рано стал пристально всматриваться в окружающее и понимать его. Многие факты этих детских лет навеки запали в его душу и ничто не могло искоренить их оттуда. Через 20 лет он вспоминает наглость Шуйского, развалившегося на кровати отца. Очевидно, эта наглость глубоко обидела его. Не было недостатка и в окружающих, которые постоянно нашептывали Иоанну про величие власти его, про ее унижение. Эти нашептывания падали на подготовленную почву. Наследственное властолюбие проявлялось уже и в ребенке; его быстрый, деятельный ум прекрасно подмечал те противоречия, которыми так богато его детство. Все делается его именем, все выказывают полную покорность ему, а между тем сам он лично ничего не знает. Это мучило и обижало его. Он читал книги, где говорилось о величии царской власти, читал запоем, страстно выискивая в них аргументы в защиту своих прав. Он находил эти аргументы и в книгах, и в речах таких царедворцев, как Бельский.

До поры до времени он по необходимости должен был молчать и смиряться. Обстоятельства были против него и на стороне Шуйских. Заговор Бельского не удался: человек, которого он считал своим другом, опять очутился в темнице.

Шуйские торжествовали в Москве, где у них была большая партия, в провинции, которой они управляли через своих клевретов. Их торжество было, повторяю, спесивым и наглым, бесконечно оскорбительным для тщеславной натуры Иоанна. Знаменитая формула: “бояре – мои враги по преимуществу” не могла не сложиться в этой странной обстановке.

Мне думается, что у нас нет основания совершенно отрицать политические претензии бояр, но эти претензии скрывались скорее в отдельных честолюбивых личностях, чем в классе. Сущность всех только что рассказанных перипетий очень недурно выражается поговоркой: “кто палку взял, тот и капрал”. Такими капралами были то Шуйские, то Бельский, смотря по удаче, и

каждый из них, взявши палку, немедленно же разыгрывал из себя самодержца, продолжая этим самым традицию московского абсолютизма. Но мы не знаем ни одной попытки закрепить за жизнью боярские политические претензии и создать для них устои в новых формах государственной жизни. Есть смутное известие, будто известная часть боярства имела политическую программу и мечтала править Русью вместе с царем, совещаясь в то же время со “всенародными человеками”, т. е. выборными всей земли. Известие это, однако, настолько смутно, что положиться на него нельзя. Оставив же его в стороне, мы увидим, что боярства как класса не было; перед нами служилое сословие, а не аристократия, отдельные честолюбивые личности, а не предводители партии. Эти честолюбцы были проникнуты родовыми, а не сословными симпатиями и, добившись власти, немедленно выдвигали на сцену всю жадную компанию своих родичей, награждая их доходными местами и т. д. По одушевлявшему ее узкоэгоистическому принципу эпоха боярского правления не могла внести в жизнь России ни одного нового элемента, и, достигнув совершеннолетия, Иоанн увидел перед собою ту же прежнюю Русь, созданную отцом его и дедом, разграбленную и истощенную, но готовую беспрекословно идти, куда ей будет указано свыше.

В 1543 году наглость Шуйских достигла своего предела. Ненавидя нового любимца Иоаннова – князя Воронцова, они в один несчастный для них день дерзко ворвались в покои государя, набросились на Воронцова, выволокли его в другую комнату, били, мучили и хотели даже умертвить. Царь просил митрополита спасти любимца, и Шуйские согласились из милости оставить ему жизнь, но все же отправили его в ссылку. Изображая наглость вельмож, летописец рассказывает, что один из их клевретов, Фома Головин, в споре с митрополитом, наступив на его мантию, изорвал ее в знак презрения. Но все эти безобразия и делали развязку близкой. Иоанну исполнилось уже тринадцать лет, в нем говорила уже гордость, сознание собственного достоинства и величия. Шуйские на свою голову приучили его к полной невоздержанности и поощряли все дурные проявления наследственности. В тринадцатилетнем Иоанне уже сказывался будущий Грозный, в меньшем масштабе, разумеется. Например, любя охоту, он любил не только убивать диких зверей, но и мучил домашних, бросая их с высокого крыльца на землю. А бояре говорили: “пусть Державный тешится”. Окружив “державного” толпою сверстников, они смеялись, когда он скакал по улицам и давил прохожих, испуская дикие крики. Бояре хвалили в нем смелость и мужество, проворство.

Поупражнявшисъ таким образом, Иоанн, подчиняясь советам родственников своих по матери, Глинских, толковавших ему, что он – царь, а Шуйские – узурпаторы, наконец проявил свой гнев и свою самостоятельность. Неожиданно после рождественских праздников 1543 года созвал он к себе бояр и впервые явился перед ними “повелительным, грозным”. С твердостью объявил он им, что они, употребляя во зло юность его, беззаконствуют, самовольно убивают людей и грабят землю, что многие из них виновны, но что он казнит лишь главаря и зачинщика – князя Андрея Шуйского. Его взяли и предали в жертву псам, которые тут же на улице и растерзали его. “С того времени бояре начали иметь страх от государя”; во главе же правления стали Глинские, отчего положение дел нисколько не изменилось к лучшему.

Прежде всего, разумеется, расправились с Шуйскими и со всеми, кто был предан им или пользовался их расположением. Преследуя врагов своих, Глинские выказали большую жестокость и ни малейшего государственного смысла. Царь же по-прежнему предавался своим развлечениям, среди которых не по дням, а по часам росли его необузданность и жестокость. Глинские не только не удерживали его, но и поощряли всякое проявление разврата и злой воли. Юноша-царь не признавал сострадания и милости, и в эти годы он является перед нами порывистым и гневным, неспособным сдерживать себя ни на йоту, разве из страха. Однажды он, выехав по обыкновению на звериную ловлю, был остановлен пятьюдесятью новгородскими пищальниками, которые хотели принести ему какую-то жалобу. Иоанн не слушал их, а велел дворянам разогнать их. Новгородцы противились, началась битва, которая и послужила достаточным основанием для расследования примерещившегося царю заговора. Последовали пытки и казни. Еще характерен следующий эпизод, относящийся, правда, к позднейшему времени. Из него видно, как занимался царь делами.

“Граждане Псковские, последние из присоединенных к Самодержавию и смелейшие других (весною в 1547 году), жаловались новому Царю на своего Наместника, Князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят челобитчиков стояло перед ним с обвинениями и с уликами. Государь не выслушал: закипел гневом; кричал, топал; лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; велел их раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в Москве; он ускакал в столицу, и бедные Псковитяне остались живы”.

Но мы нарушили хронологическую последовательность рассказа. Нам надо вернуться назад и рассказать об одном из

крупных событий XVI века – венчании Иоанна на царство. Кому принадлежала инициатива в этом деле? Едва ли духовенству, едва ли боярам, хотя, быть может, духовенство, пропитанное своими византийскими взглядами, и причастно несколько к этому. Никто, однако, не мешает нам допустить, что главным инициатором в этом случае был сам Иоанн. Он любил парады, пышность, торжественность, любил показывать себя многочисленной толпе, всякий блеск привлекал его. В прочитанных им книгах он, наверное, не раз встречал описания царских и императорских венчаний. Они льстили его тщеславию. Он задумал устроить то же самое и у себя в Москве. Мало того, проникнутый мыслью о собственном величии, причем его пылкое воображение рисовало ему полученную им власть самыми неумеренными красками, он в громком титуле царя искал внешнего выражения своих претензий. Как бы то ни было, 17 декабря 1546 года было приказано собраться двору. Митрополит, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал:

“Уповая на милость Божию и на святых заступников земли русской, имею намерение жениться: ты, отче (митрополит), благослови меня. Первою моею мыслью было искать невесты в иных Царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтися нравом с иноземкою: будет ли тогда супружество счастием? Желаю найти невесту в России, по воле Божией и по твоему благословению”. Митрополит с умилением ответствовал: “Сам Бог внушил тебе намерение столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное именем Отца небесного”. Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом прославили мудрость Державного, когда Иоанн объявил им другое намерение: “еще до своей женитьбы исполнить древний обряд предков его и *венчаться на Царство”*.

16 января нового года с особой торжественностью совершилось царское венчание, а через месяц Иоанн женился на Анастасии.

Пословица русская утверждает: “женится – переменится”. С Иоанном этого, однако, не случилось. Казалось, все должно бы настраивать его на добродушный лад: и внешние успехи, и привязанность к молодой красавице-жене, и только что совершившееся пышное венчание, по поводу которого так много и искренно ликовал народ. Но обычная психология тут неприложима. Женатый царь вел прежний холостой образ жизни. Предоставив правление Глинским, он лишь изредка вмешивался в

государственные дела, предпочитая им охоту, игры, поездки по монастырям и свои буйные забавы. Глинские делали что хотели, а Иоанн только любил показывать себя царем почти исключительно в наказаниях и необузданности прихотей. Он *играл* милостями и опалами, своевольствовал, чтобы доказать свою независимость. Доступ к нему был труден, почти невозможен. Он не желал выслушивать жалоб, гневался и приходил в дикую ярость, когда его отрывали от развлечений, пытал и казнил тех, кто осмеливался говорить ему правду. Наместники и воеводы, клевреты Глинских, грабили и разоряли вверенные им в управление области. Негде было найти суда и правды, а “державный” в это время забавлялся во дворце с шутами и скоморохами и слушал, как льстецы восхваляют его мудрость.

Замечу мимоходом, как напрасно и неосновательно преувеличивают историки влияние на Грозного царицы Анастасии. Ведь она была возле него и до появления Сильвестра и Адашева, однако даже в медовый месяц не могла удержать мужа хотя бы от разврата.

Будущее не предвещало ничего хорошего, если бы не некоторые неожиданные обстоятельства, совершенно изменившие ход событий.

Глава II. Перемена в Иоанне. Сильвестр и Адашев. Счастливые 13 лет царствования Иоанна IV

Для исправления Иоаннова, пишет Карамзин, надлежало сгореть Москве. Москва действительно сгорела, но Иоанн, как мы увидим ниже, не исправился. Зато с ним случилось нечто другое, еще более странное.

12 апреля 1547 года начался знаменитый московский пожар. То приостанавливаясь, то возрождаясь с еще большей силой, он длился более двух месяцев. Особенно памятен день 24 июня. Огонь лился рекою, и скоро вспыхнули Кремль, Китай-город, Большой посад. Вся Москва представляла зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени были заглушаемы взрывами пороха, хранившегося в Кремле и других частях города. От удушья дымом едва не погиб митрополит, молившийся в храме Успения. Бедствие было настолько велико, что смиренный летописец восклицает: “Счастлив, кто, умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо!” Больше помощи ждать неоткуда. Царь с вельможами удалился в село Воробьево как бы для того, чтобы не видеть и не слышать народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлевский дворец; богатые также строились; о бедных не думали. Это вызвало злобу исстрадавшегося народа, “почерпавшего силу отчаяния и ненависти при взгляде на обугленные развалины домов”. Враги Глинских, воспользовавшись этим, составили заговор, а ожесточенный народ охотно сделался их орудием.

Была распущена басня о том, что княгиня Анна Глинская “вынимала сердца из мертвых, клала их в воду и кропила все улицы Москвы”. Это и толковалось как причина пожара, умные люди, не верившие в басню, молчали: ненависть к Глинским была настолько велика и всеобща, что в их защиту не нашлось ни одного голоса в эту критическую минуту. Глинский, дядя царя, был убит в церкви, народ искал других жертв, а царь, малодушный и испуганный, сидел в Воробьевском дворце, не зная, что делать.

В это ужасное время, рассказывает Курбский, держась психологической, а не исторической истины, явился во дворец какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей,

родом из Новгорода, приблизился к Иоанну с поднятым угрожающим перстом и возвестил ему, что суд Божий гремит над головою царя, легкомысленного и злострастного. “И аки бы явления от Бога поведающе ему, не выйдите истинные или токмо ужасновения передающе ради буйства, но и детских неистовых нравов умыслил было себе сие, яко многожде и отцы повелевают слугам детей ужасати мечтательными страхами”. Мы знаем теперь, что первое появление Сильвестра относится не к 1547, а к 1541 году, но все же психологическая правда соблюдена в рассказе Курбского. В знаменательный и страшный день, когда “не было правительства”, а царь, растерявшись, не знал, что предпринять, – Сильвестр мог принять на себя роль древнего пророка, посланца Божия, и ужаснуть царя, истолковавши, что пожар московский – наказание за его грехи и распутство. Как бы то ни было, на целых 6 – 7 лет Сильвестру удалось овладеть умом и воображением Иоанна, действуя на него *страхом.* В отношении к Иоанну он был *магнетизером,* – гипнотизером, сказали бы мы. Ему удалось внушить царю ту мысль, что один он слаб и беспомощен и что, лишь слушая благие советы, может он рассчитывать на долголетнее и беспечное царствование. Действовал ли Сильвестр сам от себя или, как выражается господин Михайловский, он был лишь точкой приложения коллективной силы – силы “избранной рады” – мы не знаем. Но это безразлично: во всей определенности выступает перед нами тот лишь факт, что Иоанн действительно подчинился Сильвестру и что страх, мистический даже страх, внушаемый царю, играл тут большую, быть может, даже первенствующую роль...

Эпизод удивительный!.. чудо, как выражается Карамзин, и что другое он мог сказать в 20-х годах? Едва ли и современная психология возьмется разъяснить это “чудо” во всех его подробностях, но самый факт возможности подчинения слабовольного человеку сильному волей и убеждением она согласится признать как естественный и часто повторяющийся. Главное, заметим, что Иоанн растерялся, утерял советников своих Глинских, и почва для новой ферулы была расчищена. А ферула была нужна ему, и он охотно подчинялся ей, пока не *замечал.* Позволю себе по этому поводу небольшое отступление в область психологии: “Слабая воля инстинктивно ищет руководительства, боясь ответственности за поступки свои и тяготясь этой ответственностью. Она соглашается подчиняться другой, более сильной, и вместе с тем постоянно протестует против этого подчинения. Тщеславие и претензия на полную самостоятельность являются неотъемлемыми признаками слабоволия, оттого-то всегда им легче управлять *физиологически,*

чем *психологически,* т. е. путем *внушения,* но не *убеждения.* Нужен, словом, элемент непонятного для объекта влияния; иначе тщеславие немедленно возмутится и, как чувство наиболее близкое к рефлексу, проявится в какой-нибудь резкой вспышке, тем более резкой, чем сильнее была предшествующая кабала. Мы знаем, что загипнотизированный субъект всегда *боится* того, кто загипнотизировал его, и всегда *борется* с ним, даже *ненавидит,* но подчиняется. Гипнотизер внушает *страх,* и в этом страхе его сила". Мы сейчас увидим, как это психологическое соображение подходит к характеру отношений Грозного и Сильвестра. Разница будет лишь в *степени,* но степень сама по себе вещь второстепенная.

Благодаря вмешательству Сильвестра и близких ему порядок был скоро восстановлен. Народ успокоился, Грозный как бы переродился. "Государь изъявил попечительность отца о бедных, о чем накануне он и не думал совсем. Были приняты меры, чтобы никто не остался без крова и хлеба. Виновники бунта наказаны не были; сам царь, "умиленный", чтобы торжественно утвердить перемену в правлении, уединился на несколько дней для поста и молитвы. Он созвал святителей, каялся в грехах своих и, успокоенный духовенством в делах совести, причастился Святых Тайн. Мало того: было приказано, чтобы со всех городов России прислали в Москву людей выборных, всякого чина и собрания, для важного дела государственного".

"Они собрались – и в день Воскресный, после Обедни, Царь вышел из Кремля с Духовенством, с Крестами, с Боярами, с дружиною воинскою, на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к Митрополиту и сказал: "Снятый Владыко! знаю усердие твое ко благу и любовь к отечеству: будь же мне поборником в моих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери, а Вельможи не радели о мне: хотели быть самовластными; моим именем похитили саны и чести, богатели, неправдою теснили народ – и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым: не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судии неправедные! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилося? Я чист от сея крови! А вы *ждите* суда Небесного!"... Тут Государь поклонился на все стороны и продолжал: "Люди Божии и нам Богом дарованные! молю вашу веру к Нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить *минувшего* зла: могу только *впредь* спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет! Оставьте ненависть, вражду; соединимся все любовию

Христианскою. Отныне я судия “ваш и защитник”. – В тот же день он поручил Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, обиженных, и сказал ему торжественно: “Алексий! ты не знатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое, не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, да утолите ее скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена Богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клевещет на богатого! Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда Божия”.

Жизнь двора резко переменилась. Замолкли шуты и льстецы. Опираясь на избранную раду и подчиняясь ей, Иоанн водворял порядок в своем царстве. Опять мы не знаем, из кого, собственно, состояла избранная рада; доверяясь же Курбскому, можем сказать, что во главе ее стояли Сильвестр и Адашев, принявшие в свой союз не только митрополита, но и много других мужей опытных и добродетельных. Избранная рада, вероятно, и управляла государством. Почему же не сам Иоанн?

Прежде всего спросим себя, где мог он научиться делам правления? Ему было только 17 лет, и раньше государственными делами он никогда не занимался. Почему было знать ему, что там-то худо, там-то следует исправить? Когда, по старорусской привычке, в предшествующий период к нему являлись с жалобами и просьбами, он сердился, выходил из себя и страшно наказывал дерзновенных, осмелившихся обращаться к нему лично. Допустить, что он вдруг, по наитию, постиг все тайны управления государством, – дело мудреное и маловероятное, тем более что и впоследствии Иоанн особой прозорливостью не отличался, а действовал наугад; нельзя одинаково приписывать слишком большую роль и Анастасии. Имя ее Карамзин постоянно украшает эпитетом добродетельной. Но между добродетелью личной, выражавшейся в том, что царица раздавала милостыню, разъезжала по монастырям и усердно молилась мощам и святителям, и добродетелью государственной как заботе о благе общем, как защите интересов меньшего и униженного – разница немалая. Предположить в московской боярышне государственную мудрость – значит сделать вещь очень рискованную. Самое же важное то, что до появления на сцену Сильвестра и избранной рады Анастасия ровно никакой роли не играла. Ни ее благочестие, ни ее добродетель не оказывали на Грозного ни малейшего влияния, и началось-то оно вместе с влиянием избранной рады. Это слишком существенный факт, чтобы упускать его из виду.

Поэтому, не опасаясь крупной исторической ошибки, можем сказать, что тринадцать лет царствования Иоанна (1547 – 1560) носят лишь имя его.

Что же сделала избранная рада?

Отмечаю кротость правления, мир и любовь среди царского семейства. Женив брата своего Юрия, царь избрал супругу и для Владимира Старицкого; жил с первым в одном дворце; ласкал, чтил обоих; присоединяя имена их к своему, в государственных делах писал: “Мы уложили с братьями и *боярами”.* В 1550 году вышел “Судебник”, вторая “Русская правда”, вторая полная система наших древних законов. Но особенно характерно обуздание местничества. Мы знаем, что во вторую половину своего царствования Иоанн не только не обуздал местничества, но с удивительным хладнокровием, так противоречившим его обычной раздражительности, разбирался в местнических спорах и дрязгах своих слуг, как бы даже покровительствуя и питая вниманием своим эти споры и дрязги. Но подчиняясь раде, государь запретил детям боярским и княжатам считаться родом с воеводами, ввел и другие ограничения, прокладывая таким образом дорогу великой, хотя и единственной реформе сына своего Федора, совершенно упразднившего местничество. В 1551 году обратили внимание и на дела духовные.

“Одобрив Судебник, Иоанн назначил быть в Москве *Собору слуг Божьих,* и 23 Февраля дворец Кремлевский наполнился знаменитейшими мужами Русского Царства, духовными и мирскими. Митрополит, девять Святителей, все Архимандриты, Игумены, Бояре, сановники первостепенные сидели в молчании, устремив взор на Царя-юношу, который говорил им о возвышении и падении Царства от мудрости или буйства властей, от благих или злых обычаев народных; описал все претерпенное *вдовствующею* Россиею во дни его сиротства и юности, сперва невинной, а после развратной, упомянул о слезной кончине дядей своих, о беспорядках Вельмож, коих худые примеры испортили в нем сердце, но повторил, что все минувшее предано им забвению. Тут Иоанн изобразил бедствие Москвы, обращенной в пепел, и мятеж народа. “Тогда, – сказал он, – ужаснулась душа моя и кости во мне затрепетали; дух мой смирился, сердце умилилось. Теперь ненавижу зло и люблю добродетель. От вас требую ревностного наставления, Пастыри Христиан, учители Царей и Вельмож, достойные Святители Церкви! Не щадите меня в преступлениях; смело упрекайте мою слабость; гремите Словом Божиим, да жива будет душа моя”. Далее, Царь предложил Святителям Судебник на рассмотрение, и Грамоты уставные, по коим во всех городах и волостях надлежало избрать Старост и Целовальников или

Присяжных, чтобы они судили дела вместе с Наместниками или с их Тиунами, как дотоле было в одном Новгороде и Пскове; а Сотские и Пятидесятники, также избираемые общею доверенностью, долженствовали заниматься земскою неправою, дабы чиновники Царские не могли действовать самовластно и народ не был безгласным. – Собор утвердил все новые, мудрые постановления Иоанновы".

"Но сим не кончилось его действие: Государь, устроив Державу, предложил Святителям устроить Церковь: исправить не только обряды ее, книги, искажаемые писцами-невеждами, но и самые нравы Духовенства в пример мирянам; учением образовать достойных служителей Алтаря; уставить правила благочиния, которое должно быть соблюдаемо в храмах Божиих; искоренить соблазн в монастырях, очистить Христианство Российское от всех остатков древнего язычества, и прочее. Сам Иоанн именно означил все более или менее разные предметы для внимания Отцов Собора, который назвали *Стоглавым* по числу законных статей, им изданных. Одним из полезнейших действий оного было заведение училищ в Москве и в других городах. Запретили затем тщеславным строить без всякой нужды новые церкви, а бродягам-тунеядцам келий в лесах и в пустынях; запретили также, исполняя волю Государя, Епископам и монастырям покупать вотчины без ведома и согласия Царского, ибо Государь благоразумно предвидел, что они могли бы сею куплею присвоить себе, наконец, большую часть недвижимых имений в России, ко вреду общества и собственной их нравственности. Одним словом, сей достопамятный Собор, по важности его предмета, знаменитее всех иных, бывших в Киеве, Владимире и Москве".

Были попытки "просветить Русь" западным образованием; хотели вывезти из Европы ремесленников, художников, аптекарей, типографов, – даже богословов. Отчасти исполнился и этот план.

Но главное событие – это поход на Казань. Казань к этому времени, как и другие татарские ханства, обратилась в настоящее разбойничье гнездо, постоянно тревожившее Русь своими набегами. Победы над разбойничьими шайками и отрядами мало помогли делу: надо было искоренить зло в самом корне. Не буду рассказывать подробно всей истории завоевания Казани: несомненно, что велось дело тонко и проницательно. Вмешательство во внутренние смуты казанцев, основание Свияжска, благовременность выбранного для решительного нападения момента – все говорит нам об участии в правлении людей опытных и осторожных. Перехожу прямо к решительному моменту, потому что описание его ясно покажет, как мало

значила личная воля Иоанна и как многое совершалось даже наперекор ей. Несомненно прежде всего, что царь сам не хотел встать во главе войска и покинуть Анастасию, беременную в первый раз, в Москве. Он сам говорит, что его принудили, и 16 июня государь простился с супругою, а 3 июля все войско двинулось из Коломны. Надо заметить, что царь проявлял большую деятельность, постоянно говорил речи, умиротворял беспокойный дух войска и т. д. 19 августа русские увидели перед собою Казань и стали в шести верстах от нее на гладких, веселых лугах, которые, "подобно зеленому лугу", расстилались между Волгою и горою, где стояла крепость с каменными палатами и дворцами. При самой осаде никакого геройства Иоанн не выказал – единственный факт, любопытный для нас во всей этой истории. Напротив даже, он проявлял малодушие, и позднейшие его письма доказывают, как неприятно было ему пребывание под Казанью и как глубоко засело в душе его это неприятное чувство, но он на время как бы отрешился от себя и действовал по чужим указаниям.

Любопытен маленький эпизод, передаваемый Курбским и относящийся к последнему моменту взятия осажденного города:

"...Казанцы воспользовались утомлением наших воинов, верных чести и доблести: ударили сильно и потеснили их, к ужасу грабителей, которые все немедленно обратились в бегство, метались чрез стену и вопили: *секут! секут!* Государь увидел сие общее смятение; изменился в лице и думал, что казанцы выгнали все наше войско из города. С ним были великие *Синклиты,* мужи века отцев наших, поседевшие в добродетелях и в ратном искусстве: они дали совет Государю, и Государь явил великодушно: взял Святую хоругвь и стал пред Царскими воротами, чтобы удержать бегущих. Половина отборной двадцатитысячной дружины его сошла с коней и ринулась в город; а с нею и вельможные старцы, рядом с их юными сыновьями. Сие свежее, бодрое войско, в светлых доспехах, в блестящих шлемах, как буря нагрянуло на татар: они не могли долго противиться, крепко сомкнулись и в порядке отступали до высоких каменных мечетей".

Зато во всех парадных и торжественных случаях Иоанн держал себя с полным сознанием царского достоинства, выказывая в то же время особую почтительность к церкви и религии:

"В то же время проявлял он кротость к пленным и побежденным. По взятии города Князь Палецкий представил ему Едигера; без всякого гнева и с видом кротости Иоанн сказал: "Несчастный! разве ты не знал могущества России и лукавства

казанцев?” Едигер, ободренный тихостию Государя, преклонил колена, изъявлял раскаяние, требовал милости. Иоанн простил его и с любовию обнял брата, Князя Владимира Андреевича, Шиг-Алея, Вельмож; ответствовал на их усердные поздравления ласково и смиренно; всю славу отдавал Богу, им и воинству; послал Бояр и ближних людей во все дружины *с хвалою и с милостивым словом;* велел очистить в городе одну улицу от ворот Муралеевых ко Двору Царскому и въехал в Казань: пред ним Воеводы, Дворяне и Духовник его с крестом; за ним Князь Владимир Андреевич и Шиг-Алей. У ворот стояло множество освобожденных россиян, бывших пленниками в Казани; увидев Государя, они пали на землю и с радостными слезами взывали: “Избавитель! ты вывел нас из Ада! Для нас, бедных, сирых, не щадил головы своей!” Государь приказал отвести их в стан и питать от стола Царского; ехал сквозь ряды складенных тел и плакал”.

После взятия Казани Иоанн, следуя советам братьев царицы, поспешил отправиться в Москву. Отмечаю этот факт потому, что в нем впервые проявилось столкновение Иоанна с избранной радой, или мудрейшими, как выражается Курбский. Эти последние хотели замедлить отъезд царя, но он поступил наперекор им и даже самолично отправил конницу назад в Москву по такой скверной дороге, что большая часть ее погибла в пути. Успех вскружил голову Иоанну, и он стал понемногу возвращать себе прежнюю самостоятельность. На самом деле торжество его было велико и счастье во всем шло ему навстречу. Казань была взята, родился сын наследник, москвичи устроили торжественную и сердечную встречу:

“Приближаясь к любезной ему столице, царь увидел на берегу Яузы бесчисленное множество народа, так что на пространстве шести верст, от реки до посада, оставался только самый тесный путь для Государя и дружины его. Сею улицею, между тысячами Московских граждан, ехал Иоанн, кланяясь на обе стороны, а народ, целуя ноги, руки его, восклицал непрестанно: “многая лета Царю благочестивому, победителю варваров, избавителю Христиан!”

Больше даже:

“Вся Россия была в неописанном волнении радости. Везде в отверстых храмах благодарили Небо и Царя; отовсюду спешили усердные подданные видеть лицо Иоанна; говорили единственно о великом деле его, о преодоленных трудностях похода, усилиях, хитростях осады, о злобном ожесточении казанцев, о блистательном мужестве россиян, и возвышались сердцем, повторяя: “мы завоевали Царство! что скажут в свете?”

Интересный психологический феномен о влиянии Сильвестра и рады на Грозного заслуживает более подробного рассмотрения: первая эффектная сцена встречи Сильвестра с царем являлась как бы программой дальнейшего. Курбский говорит об “ужасании”, сам Иоанн сознается, что его захватили врасплох в минуту страха, навеянного пожаром. В речи 1551 года, обращаясь к духовенству, он говорит: “От сего убо (т. е. пожара) вниде страх в душу мою и припадох к твоему (митрополита) первосвятительству и ко всем еже с тобою Святителям, с истинным покаянием прося прощения еже зло содеях”. Воспользовавшись этим первым удобным моментом, избранная среда, действуя через посредство Сильвестра, а может быть, и Адашева как лица приближенного, распоряжалась в дальнейшем очень умно. Она постаралась забрать Иоанна исключительно в свои руки, тщательно оберегая его от всякого постороннего, нежелательного для себя, влияния. В доказательство этого можно привести известный эпизод из поездки Иоанна по монастырям уже после возвращения в Москву из-под Казани. Привожу документальный рассказ Карамзина:

“Исполняя обет, данный им в болезни, Иоанн объявил намерение ехать в монастырь Св. Кирилла Белозерского вместе с Царицею и сыном. Сие отдаленное путешествие казалось некоторым из его ближних советников неблагоразумным: представляли ему, что он еще не совсем укрепился в силах; что дорога может быть вредна и для младенца Димитрия; что важные дела, в особенности бунты Казанские, требуют его присутствия в столице. Государь не слушал сих представлений и поехал сперва в Обитель Св. Сергия. Там, в старости, тишине и молитве жил славный Максим Грек. Царь посетил келью сего добродетельного мужа, который, беседуя с ним, начал говорить об его путешествии. “Государь! – сказал Максим, вероятно по внушению Иоанновых советников, – пристойно ли тебе скитаться по дальним монастырям с юною супругою и с младенцем? Обеты неблагоразумные угодны ли Богу? Вездесущего не должно искать только в пустынях: весь мир исполнен Его. Если желаешь изъявить ревностную признательность к Небесной благости, то благотвори на престоле. Завоевание Казанского Царства, счастливое для России, было гибелью для многих Христиан; вдовы, сироты, матери избиенных льют слезы: утешь их своею милостию. Вот дело Царское!” Иоанн не хотел отменить своего намерения. Тогда Максим, как уверяют, велел сказать ему чрез Алексея Адашева и Князя Курбского, что Царевич Димитрий будет жертвою его упрямства. Иоанн не испугался пророчества: поехал в Дмитров, в Песношский Николаевский монастырь, оттуда на судах реками Яхромою, Дубною, Волгою, Шексною в

Обитель Св. Кирилла, и возвратился чрез Ярославль и Ростов в Москву без сына; предсказание Максимове сбылося: Димитрий скончался в дороге. Но важнейшим обстоятельством сего так называемого *Кириловского езда* было Иоанново свидание в монастыре Песношском, на берегу Яхромы, с бывшим Коломенским Епископом Вассианом, который пользовался некогда особенною милостию Великого Князя Василия, но в Боярское правление лишился Епархии за свое лукавство и жестокосердие. Маститая старость не смягчила в нем души: склоняясь к могиле, он еще питал мирские страсти в груди, злобу, ненависть к Боярам. Иоанн желал лично узнать человека, заслужившего доверенность его родителя: говорил с ним о временах Василия и требовал у него совета, как лучше править государством. Вассиан ответствовал ему на ухо: “Если хочешь быть истинным Самодержцем, то не имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться; повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на Царстве и грозою Вельмож. Советник мудрейший Государя неминуемо овладеет им”. Сии ядовитые слова проникли в глубину Иоаннова сердца. Схватив и поцеловав Вассианову руку, он с живостию сказал: *“Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета!”*

Рада прекрасно знала, какой совет мог дать бывший епископ Вассиан, этот безусловный защитник абсолютной светской власти, и, как мы видим, употребила все зависящие от нее средства, чтобы предотвратить встречу. Убеждение не подействовало, прибегли к угрозам и пророчеству. В роли пророка выступает Максим Грек, все равно как в Воробьевском дворце выступает Сильвестр. Хотели подействовать на суеверие Иоанна и возбудить в нем страх, предсказывая смерть единственного сына наследника. Но теперь уже эти меры не удавались, как раньше: Царь и так сознавал зависимость свою.

Но долгое время его держали в полном повиновении, унизительном даже для взрослого человека. Сильвестр вмешивался во все мелочи царского обихода, в супружеские отношения и прочее. Быть может, только при постоянной и строгой дисциплине можно было сдерживать необузданную натуру Иоанна. Об этой строгой дисциплине одинаково говорят нам и Курбский, и сам царь:

“Повелевающе тебе, – пишет Курбский о Сильвестре Иоанну, – в *меру* ясти и пити и со Царицею жити”. Любопытно и самоличное признание Царя. Он говорит:

“Ради спасения души моей, – пишет Царь, – приближил я к себе Иерея Сильвестра, надееся, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лукавый лицемер,

обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять Царством без *Царя, ими презираемого. Они снова вселили дух своевольства в Бояр; раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого хотели, в Думу; заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне.* Могу ли описать претерпенное мною в сии дни уничижения и стыда? Как пленника влекут Царя с горстию воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую) и не щадят ни здравия, ни жизни его; вымышляют детские *страшила,* чтобы привести в ужас мою душу; велят мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по святым Обителям, не дозволяют карать немцев… К сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, взять себе иного Царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам за оное? Новыми оскорблениями: ненавидели, злословили Царицу Анастасию и во всем доброхотствовали Князю Владимиру Андреевичу. И так удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на Царство лукавым Попом и неблагодарным слугою Алексием?" и прочее.

"Нам же, как младенцам пребывающим", – говорит Иоанн о своем детстве. Дело, очевидно, доходило до полного и мелочного даже контроля над каждым шагом царя. Ему не позволяли разъезжать по монастырям, до чего он был большой охотник, не позволяли лечиться без нужды, требовали, чтоб он ел и пил в меру. Свою покорность Иоанн объясняет впоследствии "младенческим разумом своим" и прибавляет, что его постоянно *пугали.* "Не считай меня больше, – пишет он Курбскому, – младенцем по разуму, как выставляли меня Сильвестр и Адашев, и не думай, что можно устрашить меня детскими страхами, как прежде". Образчик этих "детских страхов" мы уже видели, передавая угрозу Максима Грека.

Если же сам Иоанн так откровенно говорит о своем полном подчинении Сильвестру и Адашеву и даже логически разъясняет это, указывая на "детские стращанья", – то нам-то зачем оспаривать это и защищать его самостоятельность?

Успех под Казанью вскружил Иоанну голову, и, опираясь на него, он стал постепенно освобождаться от зависимости в своих отношениях к избранной раде. Вернулся он в Москву раньше, чем ему советовали, конницу отправил по собственному усмотрению и такой дорогою, что большая часть ее погибла в пустыне, и т. д. Но сразу сбросить с себя иго он не решался: слишком много было

в нем трусости, слишком велико влияние приближенных. Зависимые отношения продолжаются еще, как мы сейчас увидим, целых семь лет.

Важнейшим эпизодом этого периода была болезнь царя. Простудившись как-то, он занемог сильною горячкою, так что двор, Москва и Россия в одно время узнали о его болезни и невозможности выздоровления. Иоанн был в памяти. Царский дьяк Михайлов, подойдя к постели, сказал ему, что время подумать о духовной. Иоанн велел написать завещание, в котором объявил сына своего Димитрия наследником престола. Бумагу приготовили и затем утвердили ее присягою всех знатнейших сановников. Их собрали в царской столовой комнате. Неожиданно, однако, начался спор, шум, мятеж. Многие отказывались присягать и, между прочим, князь Владимир Андреевич. Иоанн позвал к себе ослушных бояр и спросил у них: “Кого же думаете избрать в цари, отказываясь целовать крест на имя моего сына?.. Не имею сил говорить много – но Димитрий и в колыбели есть для вас самодержец законный… Если не имеете совести, будете отвечать Богу”. Бояре, однако, не укротились, и отец Адашева откровенно сказал царю:

“Тебе, Государю, и сыну твоему мы усердствуем повиноваться, но не Захарьиным-Юрьевым, которые, без сомнения, будут властвовать в России именем младенца бессловесного. Вот что страшит нас! А мы, до твоего возраста, уже испили всю чашу бедствий от Боярского правления”. Иоанн безмолвствовал в изнеможении.

Бояре вели себя безобразно: бранились, чуть не дрались даже в комнате больного, забывая не только о почтительности царю, но и простом уважении к человеку. Истощая последние силы, государь хотел видеть князя Владимира и так называемою целовальною запискою обязать его к верности. Князь отказался. С удивительной кротостью царь сказал ему: “Вижу твое намерение. Бойся Всевышнего”, а боярам, давшим клятву: “Я слабею, оставьте меня и действуйте по долгу чести”. Сильвестр, заметим, был на стороне Владимира. На следующий день государь вторично созвал вельмож и сказал им:

“В последний раз требую от вас присяги. Целуйте крест пред моими ближними Боярами, Князьями Мстиславским и Воротынским: я не в силах быть того свидетелем. А вы, уже давшие клятву умереть за меня и за сына моего, вспомните оную, когда меня не будет; не допустите вероломных извести Царевича; спасите его, бегите с ним в чужую землю, куда Бог укажет вам путь!.. А вы, Захарьины, чего ужасаетесь? Поздно щадить вам мятежных Бояр: они не пощадят вас: вы будете *первыми*

мертвецами. Итак, явите мужество; умрите великодушно за моего сына и за мать его; не дайте жены моей на поругание изменникам!”

Волю царя исполнили, многие, однако, нехотя, рассчитывая при первой же возможности отказаться от присяги и поступить по-своему. Но неожиданно для всех Иоанн выздоровел.

Несомненно, что рассказанный здесь эпизод произвел на него сильное впечатление, которого он не мог забыть всю жизнь. Он увидел явное непослушание, ненависть к ослушникам глубоко запала в его душу, и впоследствии он страшно отомстил им.

Но можно ли толковать этот эпизод как стремление бояр к самовластию? Казалось, малолетство Димитрия обещало им полную свободу действий, но они сами отказываются от такой перспективы и хотят присягать Владимиру как *самодержцу*. Ослушание с их стороны было, но не было измены, которую хотел видеть Иоанн. Ни об ограничении царской власти, ни о какой бы то ни было конституции, хотя самой незначительной, бояре не мечтали. Причиной этого было не только их малое политическое развитие, но и – что еще важнее – полное отсутствие какого бы то ни было единства в их среде.

Каждый действовал за себя: одни боялись господства Захарьиных, другие по самолюбию не хотели подчиниться им. В общем, боярство XVI века представляется нам средой в значительной степени разъединенной, неспособной ни к дружному натиску, ни к дружной защите. Управлять этой средой было очень нетрудно, особенно при помощи знаменитого древнеримского принципа “divide et impera”[1]. Разумеется, были и выдающиеся умы с широким политическим горизонтом и героические характеры, но тона они не задавали. Боярство резко и заметно, не теряя, так сказать, ни одного дня, переходило на положение придворной аристократии и гораздо больше занималось своими местническими спорами и тяжбами, чем конституционными проектами или мятежами и изменами.

Как бы то ни было, болезнь и сцена, разыгравшаяся у его постели, произвели на Иоанна сильное впечатление. Здесь он убедился, что ему, хотя бы умирающему, могут оказать явное противоречие. Это навело его и на другие размышления, в результате которых он стал сознавать свою зависимость от советников и тяготиться ею. Он находил уже удовольствие не соглашаться с ними, делать по-своему. Описанное выше свидание с Вассианом было новым определяющим моментом в том же направлении. Но явно он долгое время не изменялся: влияние окружающих на слабую волю было слишком сильно, чтобы можно было сразу отделаться от него.

Как затем были усмирены казанские мятежи и присоединено царство Астраханское, рассказывать не буду: это общеизвестно. Пропускаю дела крымские и шведские как малохарактерные для биографии, тем более что вопрос о личной инициативе царя за все это время исторически неразрешим. Гораздо важнее, что начиналась Ливонская война.

Известно, что историки толкуют ее очень различно. Для многих желание Иоанна завоевать Ливонию, разгромить впоследствии Литву и Польшу, занять самому польский престол является доказательством его великой государственной мудрости. В деле сближения России и Европы в нем видят предшественника Петра. Я уже упоминал выше о столкновении с ливонским орденом, не желавшим пропустить в Россию художников и ремесленников из-за границы. По этому поводу орденские чиновники писали императору:

“Уже Россия так опасна, что все Христианские соседственные Государи уклоняют главу пред ее Венценосцем, юным, деятельным, властолюбивым, и молят его о мире. Благоразумно ли будет умножать силы природного врага нашего сообщением ему искусств и снарядов воинских? Если откроем свободный путь в Москву для ремесленников и художников, то под сим именем устремится туда множество людей, принадлежащих к злым Сектам Анабаптистов, Сакраментистов и других, гонимых в Немецкой земле: они будут самыми ревностными слугами Царя. Нет сомнения, что он замышляет овладеть Ливониею и Балтийским морем, дабы тем удобнее покорить все окрестные земли: Литву, Польшу, Пруссию, Швецию”.

Основываясь на этом, историки и приписывают Иоанну важнейшие, по выражению Карамзина, планы. Однако уже сам Карамзин не решается присоединиться к такому мнению и лишь упоминает о нем. Вопрос опять очень трудный. Действовал ли Иоанн по гениально задуманному плану или по капризу? С точки зрения психологической, последнее вероятнее, и вот почему. Нигде и ни в чем не видно, чтобы Иоанн вообще намеревался, как Петр Великий, переделать Россию по западному образцу. Его идеалом была скорее азиатская деспотия или Византийская империя, но никак не западноевропейское государство. Правда, Европы он не чуждался, но можно ли утверждать, что он ценил ее или преклонялся перед ней, как его славный преемник? Он сносился с Австрией, с Англией и прочими, но эти сношения имели по преимуществу характер личный, а не государственный. Так, например, английская торговля служила лишь к выгоде двора, посольства к Елизавете имели свою особенную, специальную цель – найти убежище в Англии на случай мятежа. В

Австрии царь искал себе невесту, чтобы, породнившись с правящим домом, еще возвыситься над земнородными. И так далее. С капризной, полной противоречий и непоследовательности натурой Иоанна просто не мирится такой дальновидный план, предвосхитивший на целый век замыслы Петра Великого. Если это правда, то Иоанн не просто уже гений, а прозорливец, не имеющий себе равного в истории. До Петра были и Алексей Михайлович, и царевна Софья. Иоанн же мысль о сближении с Европой должен был создать, так сказать, из ничего – предположение, которое не может не показаться невероятным для всякого мало-мальски знакомого с историей. Если бы у меня было больше времени и места, я показал бы читателю, как стихийно и незаметно втянулся Иоанн в войну, принесшую ему столько бед. Здесь же ограничусь лишь указанием на то, что, думая о завоеваниях, о победах и прочем, думая о том, как бы унизить врагов своих, сам Иоанн *нигде* и *никогда* не упоминает о приписываемых ему замыслах. Очевидно, он не сознавал их. Начал же войну он, по всей вероятности, по духу противоречия. Рада требовала уничтожения разбойничьего гнезда, но царь, начинавший уже находить удовольствие в непослушании и противоречии, избрал войну Ливонскую. Это было в 1558 году, и первые три года, благодаря мужеству воевод, прекрасной сравнительно организации войска, наши дела шли как нельзя более успешно.

“В то время, – рассказывает Карамзин, – как сильная рука Иоаннова давила слабую Ливонию, Небо готовило ужасную перемену в судьбе его и России”.

“Тринадцать лет он наслаждался полным счастием семейным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной. Анастасия еще родила сына, Феодора, и дочь Евдокию, цвела юностию и здравием, но в июле 1560 года занемогла тяжкою болезнию, умноженною испугом. В сухое время, при сильном ветре, загорелся Арбат; тучи дыма с пылающими головнями неслись к Кремлю. Государь вывез больную Анастасию в село Коломенское; сам тушил огонь, подвергался величайшей опасности: стоял против ветра, осыпаемый искрами, и своею неустрашимостью возбудил такое рвение в знатных чиновниках, что Дворяне и Бояре кидались в пламя, ломали здания, носили воду, лазили по кровлям. Сей пожар несколько раз возобновлялся и стоил битвы: многие люди лишились жизни или остались изувеченными. Царице от страха и беспокойства сделалось хуже. Искусство медиков не имело успеха, и, к отчаянию супруга, Анастасия 7 августа, в пятом часу дня, преставилась…”

“Иоанн шел за гробом; братья: Князья Юрий, Владимир

Андреевич и юный Царь Казанский, Александр, вели его под руки. Он стенал и рвался; один Митрополит, сам обливаясь слезами, дерзал напоминать ему о твердости Христианина… Но еще не знали,что Анастасия унесла с собою в могилу!..”

“Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только супруги, но и добродетели…”

Глава III. Опричнина и земщина

Так долго подготовлявшаяся перемена в Иоанне проявилась резко и быстро. Вернее, это была не перемена, а лишь возвращение к старому, возвращение, ставшее неизбежным, как только исчезло сдерживающее влияние супруги и рады. А еще почти накануне восторженно отзывались о нем и русские, и иностранцы. “Иоанн, – пишет Никвиц, – затмил своих предков и могуществом, и добродетелью. Литва, Польша, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен и приветлив; любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным... Нет народа в Европе, более русских преданного своему Государю, которого они одинаково страшатся и любят”. Но... “умершей убо царице Анастасии, – говорит летописец, – нача Царь быти яр и прилюбодействием зело”. Ярость и прелюбодействие проявились сразу, что мы отметим для будущего.

Для нас, однако, такая перемена не является неожиданной. Дело в том, что еще весною 1560 года холодность государя к Сильвестру и Адашеву обнаружилась так ясно, что они увидели необходимость удалиться от двора. Адашев принял сан воеводы и поехал в Ливонию, а Сильвестр скромно заключил себя в одном пустынном монастыре. Неприятели рады восторжествовали и говорили царю: “Ныне ты уж истинный Самодержец, помазанник Божий; *един управляешь землею,* открыв свои очи, и зришь свободно на все царство”. Ясно из этих слов, на какой струне играли новые советники царя. Действовала, вероятно, целая клика, хотя мы и не знаем имен ее членов. В ее интересах было прежде всего обезопасить себя от возможности возвращения Сильвестра и Адашева. Обоих их обвиняли в чародействе, в том, что они извели царицу, – и осудили заочно. Сильвестра заключили в Соловецкий монастырь, Адашева – в Дерпт, где через два месяца он заболел горячкою и умер, избегнув худшего. Последовало затем истребление духа адашевского, что мы сейчас увидим. Пока же отметим следующую черту характера царя. Спросим себя, любил ли он Анастасию? По-видимому, да; по крайней мере, он сам так много говорит о своей любви и всю жизнь вспоминает о первой жене. Однако когда через *восемь* дней после ее смерти бояре торжественно предложили ему искать невесту, он выслушал их без гнева, а 18 августа объявил, что намерен жениться на сестре короля польского.

“С сего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять

Царя, сперва беседою приятною, шутками, а скоро и *светлыми* пирами; напоминали друг другу, что вино радует сердце; смеялись над старым обычаем умеренности; называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для сих шумных сборищ: юных Царевичей, брата Иоаннова Юрия и Казанского Царя Александра, перевели в особенные домы. Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностью. Еще многие Бояре, сановники не могли вдруг перемениться в обычаях; сидели за светлою трапезою с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали; их осмеивали, унижали: лили им вино на голову".

Царь окружил себя новыми любимцами, Басмановыми, Вяземским, Малютой Скуратовым, готовыми на все, чтобы удовлетворить своим развратным наклонностям или честолюбию. Они сговорились с двумя или тремя монахами, заслужившими доверенность царя, людьми хитрыми и лукавыми, "которым надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть царя и своим присутствием как бы оправдывать бесчиние шумных пиров его". Женолюбие проявилось полностью. "Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие и, в ожидании новой супруги, искал временных предметов к удовлетворению грубым вожделениям чувственным". Штат его гарема состоял из пятидесяти девушек.

Очевидно, что такое поведение царя, нарушавшее даже приличие, не могло нравиться всем. Карамзин говорит о печальных лицах старых бояр, оттесненных от престола голодной стаей новых любимцев, и на них указывали как на изменников, как на друзей Адашева. Сначала стали гнать всех ближних Адашева: их лишали собственности или отправляли в дальнюю ссылку. На первых порах это не обходилось без протестов. Так, князь Оболенский, оскорбленный однажды наглостью Басманова, сказал ему: "Мы служим царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими". Басманов пожаловался царю, который за обедом, "в исступлении гнева", вонзил несчастному князю нож в сердце. Боярин князь Репнин, видя, что царь, напившись меду, пляшет со своими любимцами в масках, заплакал от стыда и горя. Иоанн хотел надеть маску и на него, но Репнин вырвал ее, растоптал ее ногами и сказал: "Государю ли быть скоморохом? По крайней мере я, боярин и советник думы, безумствовать не могу". Царь приказал умертвить его. В угоду Иоанну появилась толпа доносчиков. Подслушивали разговоры в семействах или между друзьями, иногда прямо клеветали и выдумывали преступления, что было нетрудно, так как улик не

требовалось и охотно верили каждому мерзавцу. Протесты не останавливали царя, а лишь раздражали его: бунт, мятеж, измену он видел в каждом смелом слове и боролся с протестующими своими обычными жестокими средствами. Трудно сказать, какой идеал носился перед его разгоряченным болезнью, вином и развратом воображением, по-видимому, он хотел не только того, чтобы каждое его слово встречало повиновение, но и гораздо большего – *чтобы его одобряли, восторгались, хвалили его за каждый поступок, каким бы он ни был.* Он требовал даже, чтобы это одобрение, похвалы, восторги были бы искренни, так как в этом отношении он был достаточно чуток. Правда, его можно было обманывать грубой лестью, притворством, но это лишь до поры до времени. Такая фантазия могла зародиться лишь в голове деспота, и ниже, говоря об опричнине, мы увидим попытку осуществить ее. Но самодовольства у него не было.

"Любопытно видеть, – говорит Карамзин, – как сей Государь, до конца жизни усердный чтитель Христианского Закона, хотел соглашать его божественное учение с своею неслыханною жестокостью: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, *чародеи,* враги Христа и России; то смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя *гнусным убийцею невинных,* приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением и что он, сложив с себя земное величие, в мирной Обители Св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным иноком"...

Война с Ливонией между тем продолжалась, и наконец в 1561 году орден, окончательно стесненный русскими, должен был прекратить свое самостоятельное существование и присоединиться к Польше. Предстояла теперь война с этой последней, но предварительно Иоанн и не думал о ней, а напротив, как мы говорили, мечтал о женитьбе на сестре короля Сигизмунда. Послы наши, отправленные в Вильну, торжественно говорили о мире и желании русского царя породниться с польским королевским домом. Им поручено было выбрать одну из двух сестер, Анну или Екатерину, смотря по их красоте, здоровью и дородству. Брак, однако, не удался. Сигизмунд, уверенный в необходимости борьбы за Ливонию, считал бесполезным родство с Иоанном, и война продолжалась уже в более широком масштабе. Иоанн же, решительно оставив мысль сделаться зятем Сигизмунда, искал себе другой невесты уже в азиатских местах. Ему сказали, что один из знатнейших черкесских князей, Темрюк, имеет прелестную дочь. Царь хотел видеть ее в Москве, "полюбил" и велел учить закону. Брак совершился 21 августа

1561 года, “но Иоанн не переставал жалеть о королевне, по крайней мере досадовал, готовясь мстить королю и за Ливонию, и за отказ в сватовстве, оскорбительный для гордости жениха”.

Второй брак Иоанна ничуть не обновил его. Он увлекся лишь красотою невесты, и любовь его, или прихоть, скоро исчезла. Сходили со сцены и последние деятели избранной рады. В конце 1563 года умер в глубокой старости и митрополит Макарий, личность, быть может, не самостоятельная и не особенно выдающаяся, но с воспоминанием о которой связано воспоминание о лучших днях царствования Иоанна. Эти дни больше уже не возвращались; напротив, злоба и жестокость царя росли, как бы стремясь к какому-то недостижимому пределу, когда человек, “уподобясь зверю, сам рвет зубами своего противника и упивается его кровью”.

Пытки, казни, неожиданно обрушивавшиеся на правых и виновных, вызвали бегство в южные края многих знатных лиц. Пример показал князь Димитрий Вишневецкий, предавшийся Сигизмунду; за ним ушли два брата Черкасские, которым грозила опала. Особенно известен отъезд князя Андрея Курбского, знаменитого обличителя Грозного.

Случилось это вот при каких обстоятельствах.

Курбский был сподвижником всех блестящих завоеваний царя, некогда – его любимцем и другом. Но он знал, что после опалы, постигшей Адашевых, доброго ему ничего уже ждать нельзя. Как мог уцелеть он, приятель “собаки Алексея” и “попа Сильвестра”, член избранной рады, когда все, кто имел какое бы то ни было отношение к деятелям счастливого тринадцатилетнего периода царствования Иоанна, подвергались гонению. Забыв дружбу, Иоанн уже мстит ему. Начальствуя в Дерпте, Курбский сносил выговоры и разные оскорбления и узнал наконец, что ему готовится гибель. Тогда он спросил у жены, чего она желает: видеть ли его мертвого перед собой или расстаться навеки? Княгиня выбрала последнее, и Курбский ночью тайно вышел из дома, перелез через городскую стену, где уже стояли приготовленные лошади, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Сигизмунд встретил его с почетом. Личные оскорбления и обиды заставили Курбского объясниться с Иоанном, и вот резюме первого письма, написанного им царю.

“Царю некогда светлому, от Бога прославленному, ныне же по грехам нашим огорченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными Владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты Сильных во Израиле, Вождей знаменитых, данных

тебе Вседержителем, и святую, победоносную кровь их пролил во храмах Божиих? Разве они не пылали усердием к Царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, Христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя сии представители отечества? Не ими ли разорены Батыевы Царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не ими ли взяты твердыни Германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия вышнего для Царя?.. Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: еще душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святой Руси! Кровь моя, за тебя излиянная, вопиет к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей и в делах, и в тайных помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее, и не ведаю греха моего пред тобою. Я водил полки твои, и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу все известно. Ему поручаю тебя, в надежде на заступление Святых и праотца моего, Князя Феодора Ярославского. Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни суда Страшного. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых: убитые тобою живы для Всевышнего: они у престола Его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, Бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь”.

Письмо это Курбский доставил царю с верным слугой своим Василием Шибановым. Шибанов подал запечатанную бумагу в руки самому государю, сказав: “От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича”. Царь, вспылив, ударил его в ногу своим острым жезлом: кровь лилась из раны; Шибанов молчал. Иоанн оперся рукою на жезл и приказал читать письмо вслух. Несомненно, что он понял героизм верного холопа, безмолвно стоявшего пред ним... и заставил подвергнуть его жесточайшим мукам в застенке. Грозный отвечал Курбскому, сам ли или при помощи дьяков своих, но все же интересно будет привести самые характерные стороны ответа:

“Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая бренное тело бегством. Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивого Владыки, и наследовать венец мученический? Что жизнь, что богатство и

слава мира – все суета и тень; блажен, кто смертью приобретает душевное спасение”... Аргумент, надо согласиться, не лишен остроумия и схоластически тонок. Царь продолжает: “Устыдися раба своего Шибанова, он сохранил благочестие перед царем и народом: дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти”... Дальше Иоанн перечисляет свои заслуги перед Курбским, указывает на свою ласку и милость и старается унизить князя, попрекая его незначительным происхождением (“отец твой служил в боярах у князя Михаила Курбского!”) и подводя к нулю его воинские подвиги. Сам же себя он, разумеется, возвеличивает: “Что, спрашивает он, было отечество в ваше царствование и в мое малолетство? Пустынею от Востока и Запада, *и мы,* уняв вас (т. е. бояр), *устроили села и грады там, где витали дикие звери.* Горе дому, коим владеет жена, горе царству, коим правят многие”. Следуют примеры из истории, затем клеветы на Сильвестра и Адашева и наконец следующее характерное умозаключение.

“Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим *сильных в Израиле;* их кровью не обагряем церквей Божиих: *сильные,* добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников – и где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего; а предок ваш, святой Князь Феодор Ростиславич, сколько убил Христиан в Смоленске. Много опал, горестных для моего сердца; но еще более измен гнусных, везде и всем известных. Спроси у купцов чужеземных, приезжающих в наше Государство: они скажут тебе, что твои *предстатели* суть злодеи уличенные, коих не может носить земля Русская. И что такое *предстатели отечества!* Святые ли, боги ли, как Аполлоны, Юпитеры? Доселе Владетели Российские были вольны, независимы, жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так и будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божией, Пречистой Девы Марии и Святых Угодников: наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует; Бояре мои живут в любви и согласии; одни друзья, советники ваши, еще во тьме коварствуют. Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сем мире нет власти Божией? Вот ересь Манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах, Дьявол в аду, на земле же властвуют люди: нет, нет! везде Господня Держава, и в сей, и в будущей жизни. – Ты пишешь, что я не узрю здесь лица твоего *Эфиопского:* горе мне! какое бедствие! – Престол Всевышнего окружаешь ты убиенными мною: новая ересь! Никто, по слову Апостола, не может видеть Бога. – Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра Христианства в тебе угасла, ибо

Христианин умирает с любовью, с прощением, а не с злобою. – К довершению измены называешь Ливонский город Вольмар областию Короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного, Богом данного тебе Властителя. Ты избрал себе Государя лучшего! Великий король твой есть раб рабов: удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю: Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно. – Писано нашея Великия России в царствующем граде Москве, лета мироздания 7072, Июля месяца в 5 день".

Письмо, несомненно, написано с большим искусством. Оно уснащено массою цитат из истории и Священного Писания и от начала до конца проникнуто тонким схоластическим духом. Но где то место, где та фраза, которые говорили бы нам о величии души, где благородство мыслей, выражений чувства? Насмешки грубы, ложь и самовосхваление беззастенчивы. Особенно поучительна эта язвительность, это желание во что бы то ни стало уколоть противника, эти упреки в незначительности происхождения. Говоря о Сильвестре и Адашеве, царь то просто ругается, то старается очернить их всевозможными клеветническими хитросплетениями. За собой, на бумаге по крайней мере, не видит никакой вины и громогласно объявляет все свои жестокости и казни проявлением высшей справедливости. Блеск ума, повторяю, виден, но благородство отсутствует, нет и признаков его. Характерно то, что ответ Иоанна Курбскому разросся в целую книгу. Очевидно, он долго обдумывался, долго подбирались цитаты и слова язвительные, долго обсуждалось достоинство того или другого аргумента. Собственно, царь не оправдывается: он пишет себе самый беззастенчивый панегирик и вместе с тем упражняется в стиле. Искусственный характер аргументации не позволяет в этом усомниться. Царь столько же заботился об убедительности, сколько и о том, чтобы те, которым придется читать его произведение, пришли в восторг от его учености, остроумия, его красноречия... Курбский презрительно ответил ему, упрекая, между прочим, в "жалком суесловии". С этим упреком трудно не согласиться.

В начале зимы 1564 года Москва неожиданно узнала, что царь едет куда-то с ближними своими дворянами, приказными и воинскими людьми, поименно созванными для этого из самых отдаленных городов вместе с женами и детьми. 3 декабря рано утром явилось на Кремлевской площади множество саней: в них сносили из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, драгоценные сосуды, одежду и деньги. Духовенство, бояре ждали в это время царя в церкви Успения; он пришел и велел

митрополиту служить обедню, молился с усердием, принял благословение, милостиво дал целовать свою руку боярам, чиновникам, купцам, затем сел в сани с царицею, двумя сыновьями, своими любимцами-боярами и, провожаемый целым полком вооруженных всадников, уехал в село Коломенское. Здесь за распутьем он прожил около двух недель, никому ничего не разъясняя из дальнейших своих планов. Из Коломенского царь перебрался в село Тайнинское и наконец в Александровскую слободу, где и остановился окончательно. В Москве между тем никто не знал, что думать о таинственном путешествии государя; все ждали чего-нибудь чрезвычайного и, без сомнения, нерадостного. Так прошел месяц.

Наконец 3 января 1565 года посланцы вручили митрополиту грамоту Иоанна. В ней, как бы повторяя свою речь на Красной площади, государь описывал все мятежи, неустройства и беззакония боярского правления во время его малолетства, доказывал, что и вельможи, и приказные люди расхищали тогда казну, земли и поместья, исключительно радея о своем благе, и что дух этот теперь в них нисколько не изменился. Воеводы не хотят быть защитниками христиан, удаляются от службы, дают хану, Литве и немцам резать Россию; а если государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополит и духовенство вступаются за виновников, грубят и надоедают ему. “И Царь, – заканчивает Иоанн свою грамоту, – от великой жалости сердца, не желая терпеть их (т. е. бояр и чиновников) многих изменных дел, оставил государство свое и уехал, чтобы поселиться там, где укажет ему Бог”.

Эта новая театральная выходка произвела в Москве большое волнение. Митрополит и бояре испугались, не допуская даже и мысли, чтобы царь мог серьезно оставить государство, тем более что ни об отречении от престола, ни о выборе преемника в грамоте не говорилось ни слова; купцы же и мещане изъявляли сами готовность истреблять изменников, лишь бы царь указал их. Во всяком случае, оставаться долее в томительном недоумении не хотелось никому, и с общего согласия торжественное посольство, состоявшее из духовенства, бояр и горожан, направилось к Иоанну. Целью посольства было ударить челом государю и плакаться.

5 января предстало оно перед царские очи и умильно плакалось. Духовенство просило снять с него опалу и вернуть милость, о том же просили сановники. На речи пришедших Иоанн отвечал с обычным своим многоречием и высокопарностью, повторил боярам всегдашние свои упреки в их своевольстве, нерадении и строптивости; ссылался на историю, доказывал, что

они издревле были виновниками кровопролития на Руси, а также врагами державных наследников Мономаховых: хотели извести царя, супругу, сыновей его. Бояре молчали. “Но, – продолжал царь, – для отца моего Митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, Архиепископов и Епископов, соглашаюсь пока взять Государства свои; а на каких условиях – вы узнаете!”

Но в течение целого месяца эти условия оставались тайной. Только 2 февраля Иоанн торжественно возвратился в Москву и на другой день созвал духовенство, бояр, знатнейших чиновников. Вид его изумил всех: на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, глаза были тусклы, а на голове и в бороде не было почти ни волоса. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал об обязанности венценосцев блюсти спокойствие держав и необходимости брать все нужные для того меры, о кратковременности жизни и затем предложил устав “опричнины”, сущность которого сводилась к тому, что царь избирал себе тысячу телохранителей и объявлял своею личною собственностью несколько (около 20-ти) богатых городов, а также и улиц в Москве. Эта часть России и Москвы, как отдельная собственность царя, находясь под непосредственным его ведомством, была названа *опричниною,* а все остальное, т. е. все государство, *земщиною,* которую Иоанн поручил земским боярам. В важнейших, особенно же ратных, делах позволялось обращаться к государю.

Объявив эту новую конституцию, Иоанн потребовал прежде всего от земщины 100 тысяч рублей за издержки по путешествию от Москвы до слободы Александровской, а затем принялся за осуществление программы и искоренение изменников.

Найти какое-нибудь разумное объяснение новой выдумке Иоанновой очень трудно, едва ли даже возможно. Даже в речах своих царь никаких мотивов государственного характера не привел, а о следовавших за учреждением опричнины поступках нечего и говорить: все от начала до конца говорит о разгуле личной страсти, пожелавшей отрешиться от каких бы то ни было стеснений. В этих последних словах и заключается, кажется, вся разгадка. Несомненно, что, живя в Москве, в Кремлевском дворце, окруженный боярами, которые хотя и молчали, но далеко не всему сочувствовали, Иоанн стеснялся вести ту жизнь, которая была наиболее по нраву ему, и эти стеснения, как ни малы были они, в конце концов надоели ему. Надоело, что митрополит является просить за опальных, что надо присутствовать в думе и так или иначе заниматься государственными делами, надоела, быть может, вся эта обстановка, так живо напоминавшая о ненавистных Сильвестре и Адашеве. В Москве царь был слишком

на глазах, слишком доступен, а этого-то Иоанну и не хотелось. Он задумал спрятаться от народа, бояр и духовенства и, не стесняясь никем, предаться разгулу мести и сладострастия. Оттого-то в речах своих он и возвращается так настойчиво к тому, что его "стужают", т. е. тревожат непрошеным вмешательством как в личную его жизнь, так и в распоряжения по части казней и пыток. Москва, Кремль годились, быть может, для умеренного разгула и зверства, но они были стеснительны для новой жизни, давно уже вырисовавшейся перед расстроенным воображением царя. Он делал попытки осуществить ее в юности до брака с Анастасией и до появления Сильвестра, но обстоятельства не позволили; теперь уже препятствий не было никаких, даже со стороны царицы, которую, как мы видели, летописцы характеризуют очень неважно. Но как добиться этого, как чувствовать себя совершенно свободным и в то же время совершенно безопасным? Страх и подозрительность по-прежнему, быть может сильнее еще, мучили душу царя, призрак измены тем настойчивее стоял перед его глазами, что Курбский только что предался королю, и злой ли человек подсказал, сам ли царь выдумал, но, как бы то ни было, исход был найден.

Не любивший усиленных занятий царь передал большую часть дел земским боярам. Это давало полный простор его лени. Болезненно подозрительный, он окружил себя громадным отрядом телохранителей. Чтобы еще больше обезопасить себя, он из "опричных" земель и улиц выселил всех земских людей. Здесь, в Александровской слободе или в своем новом московском дворце, он чувствовал себя, как в крепости. Он сидел за высокими стенами, скрытый от всех глаз, имея возможность делать решительно все, что было угодно, не приводя оправданий, не надевая никакой маски. Опричнина была настоящей крепостью, откуда Иоанн управлял всей Россией, вернее делал набеги на всю Россию.

Предварительно занялся он устройством дружины. В совете с ним сидели Басманов-сын, Вяземский, Малюта Скуратов и другие избранные любимцы. К ним приводили молодых детей боярских, уже раньше отличавшихся распутством, удальством и готовностью на все. Иоанн предлагал им вопросы о роде, друзьях, покровителях; требовалось, чтобы они не имели никакой связи со знатными боярами; неизвестность и даже низость происхождения вменялась им в достоинство. Вместо тысячи, царь избрал 6 тысяч и взял с них присягу служить ему верой и правдой, доносить на изменников, не дружиться с земскими, не водить с ними хлеба-соли, не знать ни отца, ни матери, знать единственно государя. За это Иоанн давал им не только земли, но и дворы и движимую

собственность старых владельцев (числом 12 тысяч), высланных из пределов опричнины с пустыми руками, так что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные поместья. Крестьяне одинаково являлись жертвами: новые владельцы, которые из нищих сделались большими господами, имея постоянную нужду в деньгах, обременяли крестьян налогами и трудами. Деревни быстро разорялись. Но это зло было лишь началом дальнейших. Скоро увидели, что Иоанн предает всю Россию в жертву своим опричникам: они были всегда правы во всем. Опричник мог безопасно теснить и грабить соседа и в случае жалобы брал с него пеню за бесчестие. Установился еще и такой обычай: слуга опричника, исполняя волю господина, прятался с какими-нибудь вещами в доме намеченного купца или дворянина; господин, заявляя мнимую кражу и мнимое бегство слуги, требовал в суд пристава, находил своего беглеца с поличным и взыскивал с невинного хозяина пятьсот, тысячу и более рублей за укрывательство. Иногда опричник сам подбрасывал что-нибудь в богатую лавку, уходил, возвращался с приставом и за будто бы украденную у него вещь разорял купца; иногда, схватив человека на улице, вел его в суд, жалуясь на вымышленную обиду... Изобретательны были опричники, а люди земские были безгласны и безответны перед ними. Иоанн поощрял жестокость и преступность своей дружины, ибо чем больше государство ненавидело опричников, тем более государь имел к ним доверенности. Заметим еще, что “затейливый” ум царя изобрел достойный символ для своих ревностных слуг: они ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к седлам, в знамение того, что грызут лиходеев царских и выметают измену из Земли Русской.

Посмотрим, какую жизнь вел Иоанн. Хотя новый московский дворец и был похож на крепость, но Иоанн не считал себя безопасным и в нем; невзлюбив Москвы, он большую часть времени проводил в слободе Александровской, которая сделалась городом, украсилась домами, церквами и каменными лавками. Царь жил в палатах, обведенных рвом и валом; придворные, государственные и воинские чиновники – в особых домах. Опричники имели свою улицу, купцы – также. Никто не смел ни въехать, ни выехать из слободы без ведома Иоанна, для чего была установлена воинская стража. Здесь-то, за стенами крепости, окруженной темными лесами, Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною набожною деятельностью успокаивать душу. Он захотел даже обратить дворец в монастырь, а своих любимцев – в иноков: выбрал из

опричников 300 человек самых лютых, назвал их братиею, себя – игуменом, князя Вяземского – келарем, Малюту – параклесиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под которыми носили они богатые, золотом шитые кафтаны с собольей опушкой, сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении его. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою благовестить к заутрене; братья спешили в церковь; кто не являлся,того наказывали восьмидневным заключением. Служба продолжалась до 6 – 7 часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В 8 часов опять собирались к обедне, а в 10 садились за братскую трапезу все, кроме Иоанна, который стоя читал вслух душеспасительные наставления. Между тем иноки ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, т. е. царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что это ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия, шутил, разговаривал веселее обыкновенного. В 8 часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых один за другим рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени и обедни. Однообразие своей жизни он прерывал так называемыми объездами; посещал монастыри и ближние, и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях, любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами, ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли. Когда в Россию приезжали знатные иноземные послы, Иоанн являлся в Москве с обыкновенным великолепием и торжественно принимал их в новой кремлевской палате, являлся там и в других важных случаях, но редко.

Все это время одна и та же мысль, гвоздем засевшая в голове его, не давала ему покоя. Надо было искоренить боярство. Об этом часто говорил он в дружеских разговорах с приближенными к нему иностранцами. Он жаловался им на бояр, на духовенство, не скрывал своих мстительных замыслов против первых, чтобы иметь возможность царствовать свободнее и безопаснее с дворянством новым или опричниной, ему преданной. По словам царя, опричнина видела в нем отца и благодетеля, а бояре жалели

и вздыхали о временах адашевских, когда им было свободно, а ему, царю, – неволя. Не останавливаясь ни перед чем, государь исполнял свою программу. Многих бояр казнил он лютою смертью, других постригал в монахи, третьих отправлял в тяжелую ссылку, с остальных брал записи за поручительством их друзей: в случае их бегства ручатели должны были вносить в казну "знатную" сумму денег: например, за князя Серебряного 25 тысяч рублей, или около полумиллиона нынешних.

Постепенно развивалась и идея царского величия, принимая странные, утрированные формы. Чтобы возвыситься над другими, царь уже отказывался быть русским. Однажды, по рассказу Флетчера, Иоанн велел одному английскому мастеру сделать для него блюдо и хорошенько взвесить отданный ему слиток металла, промолвив: "Не верь моим русским: они все воры". Англичанин улыбнулся; царь захотел узнать причину. "Если угодно вашему величеству, – сказал золотых дел мастер, – то не скрою от вас мысли своей: называя всех русских ворами, забываете, что и сами вы принадлежите к их числу". "Нет, – отвечал Иоанн, – я не русский: мои предки были немцы". Он хотел в это время жениться на немке, а дочь свою выдать за немецкого князя.

В общем жизнь царя в Александровской слободе представляет много любопытного. Внимательный читатель не мог не обратить прежде всего внимание на невероятно повышенную и напряженную нервную деятельность Иоанна. Царь несомненно страдал бессонницей; по свидетельству современников, он не спал почти, а лишь дремал изредка и то в общей сложности не больше 2 – 3 часов в сутки. Целые ночи он проводил в церкви, кладя земные поклоны до кровавых пятен на лбу, днем или кутил, или пытал несчастных, или занимался государственными делами. По-видимому, он не знал усталости и, отдаваясь своей похотливой натуре, не чувствовал даже необходимости в отдыхе. Тело его истощалось. Пробыв всего один месяц в слободе и вернувшись затем в Москву, он настолько изменился, что трудно было узнать его: глаза потускнели, волосы на голове и бороде вылезли почти до единого, но повышенная нервная деятельность не падала. Она выражалась в беспрестанном беспокойстве, в постоянной необходимости раздражать себя пирами или пытками. И после этих пыток царь чувствовал себя особенно веселым и даже благодушно настроенным! Если же это так, то жестокость Иоанна была не прихотью, не капризом, не тиранством, как постоянно выражается Карамзин, а необходимостью его натуры, которой он должен был служить, как пьяница должен пить водку. Он радовался и веселился духом, видя перед собой корчившегося на угольях человека; эти

страдания удовлетворяли его потребность к мучительству, уменьшали то постоянное тревожное беспокойство, которое он день и ночь ощущал в себе. От него-то уйти он не мог, и только застенок давал ему минутный отдых. Для меня по крайней мере несомненно, что это непрестанное тревожное настроение, эта бессонница, эта неугомонная нервная деятельность говорят о глубоком расстройстве душевного организма, особенно же бессонница как явление чисто физиологическое. И мы увидим дальше, как это расстройство достигло наконец кульминационного пункта, как принимало оно все более и более бурные формы.

Пока же будем продолжать наш рассказ.

В это время (1566 год) предстоял выбор митрополита. Сначала выбор пал на Германа. Но тот, однажды беседуя с Иоанном наедине, захотел попытать его сердце; начал говорить с ним, как должно первосвятителю, о грехах, о христианском покаянии, тихо и скромно, однако же с некоторой силою; упомянул о смерти, о страшном суде, о вечной муке злых. Иоанн задумался: ему опять надоедали, опять принялись за “стужение”, которое лишь раздражало его. Он вышел от митрополита с лицом мрачным, пересказал любимцам своим речи Германа и спросил, что они думают. “Думаем, Государь, – отвечал А. Басманов, – что Герман желает быть вторым Сильвестром: ужасает твое воображение и лицемерит в надежде овладеть тобой. Но спаси нас и себя от такого Архипастыря”. Германа изгнали из палат, и царь искал другого первосвятителя. Трудно сказать почему, но внимание остановилось на Филиппе, игумене Соловецкого монастыря, который славился своим благочестием; но зачем понадобилось оно государю?! Как бы то ни было, Филипп, вызванный в Москву царскою милостивою грамотою, явился туда, был принят царем с отменной честью, обедал, беседовал с ним дружелюбно и наконец услышал, что ему быть митрополитом. Несмотря на все отговорки Филиппа, царь был непреклонен. Тогда Филипп сказал: “Повинуюсь воле твоей; но умири же совесть мою: да не будет опричнины! да будет только единая Россия! ибо всякое разделенное Царство, по Глаголу Всевышнего, запустеет. Не могу благословить тебя искренно, видя скорбь отечества”. Иоанн сдержал гнев свой и тихо ответил: “Разве не знаешь, что мои хотят поглотить меня? что ближние готовят мне гибель?” – и доказывал необходимость опричнины, но, скоро выведенный из терпения смелыми возражениями старца, велел ему умолкнуть. Все думали, что Филипп, подобно Герману, будет удален с бесчестием, но ошиблись: быть может, Царь не оставлял еще надежды сделать его хотя бы молчаливым соучастником

своего правления, и первый шаг Филиппа как бы оправдывал его расчеты[2]. Была написана грамота, в которой сказано, что новый избираемый митрополит дал слово архиепископам и епископам не вступаться в опричнину государеву и не оставлять митрополию под тем предлогом, что царь не исполнил его требования и запретил ему вмешиваться в дела мирские. Святители утвердили эту хартию своими подписями, и Филипп, заявленный враг опричнины, был немедленно возведен в митрополиты. Первое же слово, сказанное им по принятии сана, было исполнено величия. Он говорил о долге державных быть отцами подданных, блюсти справедливость, уважать заслуги; о гнусных льстецах, которые теснятся к престолу, ослепляют ум государей, служат их страстям, а не отечеству, – хвалят достойное хулы и порицают достохвальное; о тленности земного величия, о невооруженной любви, которая приобретается государственными благодеяниями и еще славнее побед ратных. Казалось, сам Иоанн внимал с умилением словам Филиппа, и первые месяцы после избрания его прожили в мире. Затихли жалобы на кромешников, царь ласкал митрополита… Чувствовал ли он угрызения совести или притворялся? – недоумевает Карамзин. По-нашему, ни то, ни другое: это был лишь короткий период реакции, необходимый во всякой болезни.

Но скоро начались новые убийства и казни – третья эпоха их по счету историков. Характер ее несколько иной, почему и остановимся на ней подробнее.

Прежде всего главным боярам московским тайно вручили грамоты, подписанные Сигизмундом и Хоткевичем: король и гетман убеждали их оставить царя жестокого, звали к себе, обещая уделы. Бояре, представив эти грамоты Иоанну, отвечали королю, что склонять к измене верных подданных есть дело бесчестное, что они умрут за царя доброго, ужасного лишь для злодеев, – словом, доказали свои верноподданнические чувства как нельзя лучше. Иоанн сам взялся доставить эти грамоты королю, но доставил ли их – неизвестно. Как бы то ни было, план его, довольно хитро задуманный, не удался. Он обратился к мерам более грубым. Старый боярин Федоров был обвинен в том, что желает свергнуть царя с престола и властвовать над Россией. Иоанн сделал вид, что верит этой клевете. В присутствии всего двора надел на Федорова царскую одежду и венец, посадил его на трон, дал ему державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: “Здрав буди, великий Царь земли Русской. Се приял ты от меня честь тобою желаемую. Но, имея власть сделать тебя Царем, могу и низвергнуть с Престола”. С этими словами он ударил старика ножом в сердце; опричники дорезали

его, выволокли обезображенное тело из дворца и бросили на съедение псам. Умерщвлена была также и престарелая жена боярина и многие его “единомышленники”. Погиб скоро и князь Ростовский, воеводствовавший в Нижнем Новгороде. Когда опричники привезли Иоанну его отрезанную голову, он, оттолкнув ее, злобно смеялся и говорил, что покойный князь, любив обагряться кровью неприятелей в битвах, наконец обагрился и своею собственной. В эти минуты обыкновенно сумрачный царь расходился и острил, убиты были и многие другие знатные люди. Буйство достигло размеров еще невиданных. Опричники, вооруженные длинными ножами и секирами, бегали по городу, искали жертв, всенародно убивали человек по десяти, по двадцати в день. Трупы лежали на улицах и площадях, и никто не мог убирать их. Граждане боялись выходить из домов. “В безмолвии Москвы тем свирепее раздавался свирепый вопль палачей Царских”.

Молчал и митрополит, которого царь избегал и отказывался видеть; но это до поры до времени.

“Однажды, в воскресенье, в час обедни, Иоанн, сопровождаемый боярами и множеством опричников, вошел в церковь Успения: царь и вся дружина были в черных ризах, в высоких шлыках. Филипп стоял в церкви на высоком месте. Иоанн приблизился к нему и ждал благословения. Митрополит смотрел на образ Спасителя, не говоря ни слова. Наконец бояре сказали: “Святой Владыко! Се Государь: благослови его!” Взглянув на Иоанна, Филипп отвечал: “ В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю Царя Православного; не узнаю и в делах Царства… Благочестивый, кому поревновал, сицевым образом доброту лица своего измениви. Отколь солнце на небеси начало сияти, не было слыхано, чтобы Цари благочестивые свою державу возмущали. О Царю! Мы приносим здесь жертву Богу, а за алтарем неповинная кровь льется. В неверных языческих Царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а в России нет их. Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства, и совершаются именем Царя! Ты высок на троне, но есть Всевышний, Судья наш и твой. Как предстанешь ты на суд Его? Самые камни вопиют о мести под ногами твоими. Государь! Вещаю яко пастырь душ. Боюсь Бога единого”. Иоанн задрожал от гнева, ударил жезлом о камень и сказал: “Чернец, до сих пор излишне щадил я вас, изменников: отныне буду, каковым вы меня нарицаете!” Грозный вышел вон из церкви”.

Буйство продолжалось. Царь превосходил жестокостью даже опричников своих. Ссылаясь на Генника, Курбский прибавляет, что два брата, вместе с другими служа Иоанну палачами в

истреблении, не могли убить одного прекрасного младенца, найденного ими в колыбели, и принесли его царю. Иоанн взял его, *поцеловал* и выбросил в окно на съедение медведям, а двух упомянутых братьев велел изрубить саблями за их жалость. Жестокости принимали характер грубого разбоя. В июле 1568 года в полночь любимцы Иоанна вломились в дома к многим знатным людям, дьякам, купцам; взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. Вслед за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный опричниками. На первом ночлеге ему представили жен: он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы, жег усадьбы опальных бояр, казнил их слуг, *даже истреблял скот.* Возвратясь в Москву, велел ночью развести жен по домам, некоторые из них умерли от страха и горя.

28 июля произошло новое столкновение с Филиппом. Митрополит служил в Новодевичьем монастыре: тут были и царь с опричниками, из которых один шел за ним в тафье. Увидав это, митрополит остановился и с негодованием сказал о том царю, но опричник уже спрятал тафью. Царя уверили, что Филипп выдумал сказку, желая возбудить народ против государевых любимцев. Забывши всякую пристойность, Иоанн громко ругал Филиппа, называл его лжецом, мошенником, клялся, что уличит его в измене.

С этой минуты участь митрополита была решена. Он был позван на суд. Царь, бояре и епископы сидели в молчании. Игумен Паисий стоял и клеветал на Филиппа с дерзостью человека, стремившегося занять его место. Не оправдываясь, митрополит обратился к царю и сказал: “Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Твори, что тебе угодно!” Как бы насмехаясь над ним, Иоанн приказал ему еще служить обедню в полном облачении. Филипп повиновался. Во время службы в церковь явился Басманов с опричниками, держа в руках свиток, и велел прочесть его. В свитке значилось, что Филипп собором духовенства лишен сана. Тогда воины, войдя в алтарь, сорвали с митрополита одежду, облекли его в бедную ризу, выгнали из церкви и повезли на дровнях в монастырь. Вскоре он был задушен.

“Тиранство, – говорит Карамзин, – созрело в эту эпоху, но конец был далек”. Жестокость обрушивалась уже на массы. В Торжке, в день ярмарки, опричники завели ссору и драку с жителями. Царь объявил их бунтовщиками, велел их мучить и топить в реке. То же произошло и в Коломне. Не остановили Царя просьбы и укоры митрополита, не могли остановить его и

бедствия народные. А их было много. В июле 1566 года по северо-западу пошло моровое поветрие: люди умирали скоропостижно “знамением”, как сказано в летописях. В разных областях были неурожаи: люди тысячами гибли от голоду. На это царь не обращал внимания, он думал лишь о своих казнях и внешних делах, которые всегда сильно интересовали его. С этими внешними делами связан один эпизод из политической жизни России, который необходимо рассказать подробнее.

В 1566 году, в июле, Иоанн призвал в земскую думу не только знатнейшее духовенство, бояр, окольничих дворян первой и второй статьи, но и гостей, купцов, помещиков иногородних, отдал им на суд переговоры наши с Литвою и спрашивал, что делать: мириться или воевать с королем. В собрании находились 399 человек. Все отвечали, что государю без вреда для России нельзя быть “снисходительнее”, что Рига и Венден необходимы нам для защиты Новгорода и Пскова, иначе затворится торговля новгородская. Воины изъявили готовность пролить кровь свою, граждане – отдать деньги. Был ли этот собор испытанием верности, или новым театральным зрелищем, на котором царь хотел явиться в полной торжественности, – мы не знаем, но частью какой бы то ни было политической программы считать его нельзя: такой программы у Иоанна никогда не имелось, и единственным результатом собора было то, что Россия решительнее стала продолжать войну. Сам Царь отправился на место действия, но, охлажденный неудачами и опасностями, скоро вернулся в столицу. Тогда обе стороны, утомленные борьбой, заключили временное перемирие.

Из внешних же сношений любопытно посольство дворянина Андрея Савина к Елизавете. Посольство было с тайным делом, о котором мы узнаем только по ответу Елизаветы, хранящемуся в нашем иностранном архиве. Как оказывается, Иоанн, недавний победитель Польши, не имевший решительно никакого основания сомневаться в верноподданнических чувствах народа своего, только и думал что о бунтарях, об изгнании и даже о своей собственной казни! Ему мерещились мятежи и восстания, он писал об этом Елизавете и просил убежища в ее земле на случай чего-нибудь подобного. Королева отвечала, что желает ему царствовать со славою в России, но готова дружественно принять его вместе с супругою и детьми, если, вследствие тайного заговора, внутренние мятежники или внешние неприятели изгонят Иоанна из отечества; что он может жить где угодно в Англии[3], наблюдать в богослужении все обряды веры греческой, иметь своих слуг и право свободного выезда, куда угодно. “Все это, – заканчивала Елизавета, – мы обещаем как этим нашим

письмом, так и словом христианского государя". Следуют подписи Елизаветы и ее приближенных.

Мания преследования, очевидно, разыгрывалась, но, как и все у Иоанна, и эта мания проявлялась пока припадками, не принимая еще хронического характера. В один из этих припадков и было, вероятно, написано письмо к Елизавете. Заметим, что прямого повода к нему не было решительно никакого. Оно явилось как бы по капризу расстроенного воображения, которому мерещились всякие ужасы. Перед Иоанном носились картины мятежа и восстания, как носились и картины Страшного суда. От первых он хотел бежать в Англию, – куда было бежать от вторых?

1 сентября 1569 года умерла царица Мария. Россия облеклась в траур, дела остановились, бояре и приказные люди надели смиренное платье, во всех городах служили панихиды и раздавали милостыню. Сам Иоанн, едва ли опечаленный смертью жены, уехал из Москвы в слободу, где принялся за обычное свое времяпрепровождение.

Первой "крупной" жертвой его на этот раз был князь Владимир Андреевич. *Шестнадцать лет* уже таил на него Иоанн злобу свою, и наконец она разразилась. Случилось это при следующих обстоятельствах. Князь Владимир ехал в Нижний через Кострому, где граждане и духовенство встретили его с крестами и хлебом-солью, изъявляя любовь свою. Узнав об этом, царь велел привести костромских начальников в Москву и казнить их. Брата он ласково пригласил к себе. Владимир направился к нему с женою и детьми и, остановившись в трех верстах от слободы, в деревне Слотич, дал знать о своем приезде Иоанну. Вдруг видит он полки всадников, скачущих во весь опор с обнаженными мечами. Всадники окружили деревню, схватили князя и повели его вместе с семейством к Иоанну, сидевшему в избе. "Вы хотели умертвить меня ядом, – сказал Иоанн, – пейте его сами!" Подали отраву. Владимир простился с супругой, благословил детей и выпил яд, то же сделала жена его и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать. Иоанн все время смотрел на их агонию. И здесь уже не жестокость просто, здесь мучительство и наслаждение им. Но особенно любопытно, что Иоанн ждал мести своей целых шестнадцать лет. Это может сбить с толку всякого, кто склонен видеть в грозном царе болезненное расстройство. Такое долготерпение как-то не вяжется с обычным представлением об Иоанне, любившем немедленно же удовлетворять каждую прихоть свою, каждое волнение похоти. А тут целых шестнадцать лет, и каких еще лет! Все это время царь ласкал брата, ухаживал за ним, честил[4] всякими способами и почти накануне казни вверил ему войско для защиты Астрахани.

Такая выдержанность, повторяю, свидетельствует, по-видимому, об уме здравом. Но это лишь *по-видимому*. Психология доказывает, что и сильно расстроенные люди очень долго могут таить свои намерения и даже искусно прятать их под любою маской. Это во-первых. А во-вторых: для казни Владимира приключился повод – именно внимание к нему костромичей. Этого уже Иоанн стерпеть не мог, он слишком ревниво относился к власти своей. Она должна быть абсолютной и нераздельной, всякое ничтожное даже посягновение на нее наказывается смертью. Перед царем пусть все падет в прах, пусть все *сравняется*.

Не мог не сравняться и Новгород Великий, и здесь мы подошли к одной из самых кровавых страниц царствования Иоанна.

Новгород, униженный и обезличенный еще при деде Грозного, "сохранял еще некоторую величавость", основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в гражданском устройстве. Это беспокоило царя. Весной 1569 года он вывел из города 150 семейств и переселил их в Москву. Это не предвещало ничего хорошего. Гроза действительно скоро разразилась.

В декабре царь со старшим сыном, дружиною, со всем двором выступил из слободы, миновал Москву и пришел в Клин. Здесь, на первом этапе, он велел своим воинам начать войну, убийство и грабеж, хотя клиничане не подавали ни малейшего повода, чтобы их могли счесть за врагов тайных или явных. Дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни дорога усыпалась трупами *"всех встречных";* подъехав к Твери, царь вспомнил, что здесь в монастыре сидит заключенный бывший митрополит Филипп. Он послал Скуратова задушить его. Дальше были разорены и ограблены Тверь, Медный, Торжок, Вышний Волочек и все места до Ильменя. Наконец 2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, чтобы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по 20 рублей, а кто не мог заплатить, того ставили на правеже, т.е. всенародно били и секли с утра до вечера. Опечатали также дворы всех богатых граждан; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями, жен и детей стерегли в домах. Ждали прибытия государя. Он прибыл 6-го, и началось нечто невообразимое. На другой же день избили всех монахов, бывших на правеже. 8-го царь вступил в самый Новгород. На Великом мосту его встретил

архиепископ. Иоанн отказался принять благословение, грозно укорял его, но все же *выслушал литургию,* усердно молился и затем отправился в палаты архиепископа, где и сел за стол вместе с боярами. Вдруг царь завопил “гласом великим яростью”. Это был условный знак: архиепископа схватили, двор и казну его разграбили.

Начался суд над новгородцами.

Ежедневно приводили к Иоанну, восседавшему на троне вместе с сыном своим, от пятисот до тысячи и более новгородцев, били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, тащили на берег Волхова в то место, где река не замерзала зимой, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Воины московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из брошенных в воду выплывал, того кололи или рассекали на части, убийства продолжались пять недель и заключились общим грабежом: Иоанн с дружиною объехал все монастыри вокруг города, захватывая повсюду казну, велел опустошить дворы и кельи, истребить скот, хлеб, лошадей; предал также и весь Новгород грабежу и, сам разъезжая по улицам, наблюдал за ходом всеобщего разрушения. Толпы опричников и воинов были посланы и в пятины новгородские[5], чтобы губить достояние и жизнь людей без разбора и ответа. “Сие, – сказано в летописи, – неисповедимое колебание, падение и разрушение Великого Новгорода продолжалось около шести недель. Наконец 12 февраля на рассвете государь призвал к себе именитых новгородцев из каждой улицы по одному человеку, *воззрил на них оком милостивым и кротким* и сказал: “Мужи новгородские, молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о христолюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов видимых и невидимых. Суди Бог изменнику моему Пимену и злым его советникам. На них взыщется кровь, здесь излиянная! Да умолкнет плач и рыдание, да утешится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в граде сем...” В виде эпилога к кровавой драме архиепископа посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою и бубнами в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и затем отправили под стражею в Москву.

Говорят, что в Новгороде за 6 недель погибло около 60 тысяч человек. Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро, и болезни довершили казнь царскую, так что священники в течение 6 или 7 месяцев, не успевая погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов...

Из Новгорода Иоанн отправился в Псков, готовя ему ту же участь. Случилось, однако, нечто неожиданное. Услышав о приближении царя, псковитяне готовились к смерти, прощались с жизнью и друг с другом. В полночь накануне дня, назначенного для казней, в городе никто не спал, молились в церквах, и из ближнего монастыря, где царь остановился, неожиданно послышался благовест и звон. Сердце его, пишут современники, чудесно умилилось. В непривычном порыве жалости Иоанн сказал воеводам своим: “Притупите мечи о камень! да перестанут убийства!” Вступив на другой день в город, он с изумлением увидел на всех улицах перед домами столы с изготовленными яствами: граждане, жены их, дети, держа хлеб и соль, преклоняли колена, благословляли и приветствовали царя. Эта покорность усмирила царя. Он выслушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу святого Всеволода и зашел в келью к старцу Николе. Пишут, что последний предложил в дар царю кусок сырого мяса. “Я христианин, – сказал Иоанн, – и не ем мяса в великий пост”. – “Ты делаешь хуже: питаешься человеческой плотью и кровью, забывая не только пост, но и Бога”, – отвечал старец.

Гроза миновала Псков, но собиралась над Москвой.

Там уже производилось следствие над соучастниками архиепископа Пимена. Каждая клевета и донос принимались, одному во внимание. Заключали в Москву многих знатных бояр и даже некоторых любимцев Иоанна – Басмановых и самого князя Вяземского, из рук которого царь принимал лекарства, только ему доверял все тайные планы свои. Вяземского обвинили, что он будто бы предуведомил новгородцев о готовившемся побоище. Царь поверил или сделал вид, что верит, несколько времени молчал и вдруг призвал Вяземского к себе и, рассуждая с ним о важнейших делах государственных, приказал между тем умертвить его лучших слуг. Возвращаясь домой, князь увидел их трупы и, не показывая ни изумления, ни жалости, прошел мимо, в надежде этим доказательством своей преданности обезоружить гнев Иоанна. Надежда не оправдалась: его заключили в тюрьму, пытали, а потом казнили.

Страшная была казнь! Необходимо показать, как *изощрялся* Иоанн в мучительстве – это единственная причина, почему приводим следующее ужасное описание.

“25 июля, среди большой торговой площади, в Китае-городе, поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер, и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн

хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы Опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился Царь на коне с любимым старшим сыном, с Боярами и Князьями, с Легионом кромешников, в стройном ополчении; позади шли осужденные числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн встал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел Опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая Москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли: вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: “Народ, увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?” Все ответствовали велегласно: “Да живет многие лета Государь Великий! да погибнут изменники!” Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровать им жизнь как менее виновным. Потом прочли обвинительный акт и вызвали Висковатого. Он хотел оправдываться, но кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был Казначей Фуников-Карцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал Царю: “Се кланяюся тебе в последний раз на земле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим!” Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою; он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копнем одного старца. Умертвили в 4 часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облитые кровью, с дымящимися мечами, стали пред Царем, восклицая: гайда! гайда! и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила; но отдал ее сыну, Царевичу Иоанну, а после вместе с материю и с женою Висковатого заточил в монастырь, где оне умерли с горести”.

Князь Вяземский умер во время пыток. Конец Алексея Басманова кажется еще более невероятным. Пишут, будто бы Иоанн принудил юного Федора Басманова убить своего отца!

Федор убил на глазах царя, но не спасся от казни.

Еще несколько фактов. Михайловский воевода Казаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился[6] в каком-то монастыре на берегу Оки. Царь послал за ним опричников и велел взорвать его на бочке пороха, говоря в *шутку,* что схимники – ангелы и должны лететь на небо. Вислов имел красавицу-жену: ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Случалось, что сам Иоанн принимал роль палача, что мы видели и раньше. Когда жертва по каким бы то ни было причинам ускользала из его рук, он мстил ее семье и родственникам. Малолетние дети князя Оленкина были заморены в тюрьме.

“Но смерть, – говорит Карамзин, – казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современников о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах: сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезали людей по суставам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины...”

“Царь в это время *веселился.* Из Новгорода и других областей присылали ему шутов и скоморохов вместе с медведями. Последними он травил людей в гневе и в забаву; видя иногда близ дворца толпу народа всегда мирного и тихого, приказывал выпускать несколько медведей и громко смеялся воплю и бегству устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить Царя прежде и после убийств, и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ими славился Князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какой-то шуткою, Царь вылил на него миску горячих щей: бедный смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом... обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. “Исцели слугу моего доброго, – сказал Царь, – я поиграл с ним неосторожно”. *Так неосторожно* (отвечал Арнольф), *что разве Бог и твое Царское Величество может воскресить умершаго: в нем уже нет дыхания.* Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода старицкий, Борис Титов, – поклонился до земли и величал его, как обыкновенно. Царь сказал: “будь здрав, любимый мой Воевода: ты достоин нашего жалованья” – и ножом отрезал ему ухо. Титов не изъявил ни малейшей чувствительности к боли,

с лицом покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо! – Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питие, оставлял пир, громким криком сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так, он из-за роскошного обеда устремился растерзать Литовских пленников, сидевших в Московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки Царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у Россиян и надежду на будущее царствование! Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины: *гайда! гайда! с* торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу".

"К этим бедствиям присоединились голод и мор, опустошавшие Россию вплоть до 1572 года"

Невольно, после подобного описания, вырывается у Карамзина вопрос: "Кому больше следует удивляться: Царю ли, разрушающему собственное царство, или подданным, смиренно выносившим все беды, все муки, всяческую жестокость и издевательство?" Обе стороны заслуживают удивления, но теперь меня интересует лишь первая – сам Иоанн Грозный.

В дальнейшем ходе рассказа я не намерен уже подробно описывать казни и истязания: слишком много их, и простое перечисление заняло бы страницы. Довольно сказанного, так как и на основании приведенных данных возможно уже отметить *специальный, болезненный* характер мучительства Иоанна. Зло привлекало его к себе и привлекало неотразимо. Как пьяница чувствует себя совершенно расстроенным и бессильным, отданным во власть тоски, тем более гнетущей, что у нее нет "предмета", – так чувствовал себя Иоанн, не видя долго пыток и агонии умирающих. Это, вероятно, самый существенный факт его духовной жизни. По мере того, как расстраивалось его воображение, как возрастало предсердечное томление (вещь, в медицине известная), – все большей необходимостью являлось мучительство. Потребность мучить, делать зло, оскорблять или унижать, потребность издеваться и злорадствовать есть в каждом из нас. Это почти бесспорный факт, но у нормального человека такая потребность нейтрализуется благожелательными побуждениями и лишь изредка выступает на сцену властно и повелительно. При известных же формах умственного расстройства – особенно же такого, которое находится в связи с половым исступлением – такая потребность является доминирующей: она бесконтрольно овладевает сознанием и

настойчиво требует удовлетворения. Больному на самом деле *легче,* когда он причинит кому-нибудь страдание, услышит стоны и крики, увидит кровь. Ему нужно все это, необходимо нужно, и он оживляется, становится весел, шутлив, разговорчив. Мрачные больные, страдающие беспредметной тоской, особенно склонны к буйным выходкам. Эти выходки являются как бы клапаном тоски, как бы струей свежего воздуха, очищающего атмосферу, наполненную газом. Страшна здесь необходимость потребности, но она-то вместе с тем и указывает на расстройство. До казни, до пыток Иоанн бывал обыкновенно особенно мрачен, желание казнить и пытать являлось в нем сразу, вдруг, и он бросался, как мы видели, из-за неоконченной трапезы, чтобы бежать в застенок. Это *вдруг* тоже характерно, если говорить об острых приступах тоски и раздражения.

Эротическое исступление Иоанна почти несомненно. Он сам постоянно говорит о своем "распутстве". "А мне, – пишет он Курбскому, – псу смердящему, кого учити, и чему наказать, и чем просветити? Сам всегда в пьянстве, и в блуде и в прелюбодействе обретаюсь". Он повторяет то же признание в завещании 1572 года. О том же говорит Курбский и единогласно все современники, как русские, так и иностранные. Например, датский посол Ульфельд пишет: "Habet (Иоанн), ut aiunt in ginecaeo suo 50 virgines, et illustri familia oriandas eque Livonia abductas quas secum, quo se confert ducit, iis loco uxoris, cum ipse uxoratus non sit. utens". "Жен и дщерей блудом оскверни", – свидетельствует Кубасов. О его отношениях к Федору Басманову известно достаточно. Женатый 6 раз, он перед смертью замышлял 7-й брак и, лежа на постели, накануне кончины, так испугал любострастными поползновениями свою невестку, что та с омерзением убежала от него. Фактов для выводов довольно, и всякий, даже поверхностно знакомый с психопатологией, знает, что ненормальное сладострастие и жестокость идут всегда вместе.

По мере развития недуга возрастала потребность мучительства. Иоанн уже не удовлетворяется, как в юности, случайными жертвами, ему не нужно больше поводов для жестокости. Этот повод не только при нем всегда, но и всегда в нем самом. Ему мало единичного убийства, он устраивает целые бойни, после которых, как в Новгороде, является с лицом просветленным и даже кротким... Вырабатывается рядом с этим и артистичность. Иоанн сладострастно жесток, он смакует пытку, убивает на самый различный манер. Он наслаждается муками и, как человек уже пресыщенный, любит смаковать агонию. Простого убийства мало, убийство, которое больше всего

привлекало Грозного, отличается тонкостью и изощренностью. В нем несколько моментов. Иоанн любит прежде всего неожиданность нападения, которая вызывает испуг. Наметив жертву, он становился особенно ласков с нею, внимателен и льстив. Упившись испугом и найдя новый, еще не испытанный вид казни, царь упивается агонией, и чем продолжительнее она – тем ему приятнее. В этой области он – артист, художник, и никто, даже изысканный в жестокости Людовик XI, не сравнится с ним. Формулы Калигулы “я хотел бы, чтобы у римлян была одна голова” – Иоанн не принял бы: слишком скоро можно отрубить *одну* голову. Надо напугать, надо издеваться, надо мучить...

Но из этого не следует, чтобы Иоанн был хронически болен. Его болезнь перемежающаяся и даже такая, которая окончательно сломить его могучего организма не могла. Находили периоды “жестокой мрачности” и исчезали, оставив за собою полосу крови и отвратительный запах поджарившихся на угольях живых тел. Казни и пытки обновляли дух его, и чем дальше, тем все более и более на короткое время.

А государственный характер казни? – спросит читатель. Разумеется, был и он и отрицать его нет ни малейшего основания. Борьба с боярским произволом – не пустая фраза в устах Грозного, не пустая фраза и вольность новгородская. В нем крепко засели московские традиции, установленные его отцом, дедом и раньше. Это – традиции всеобщего уравнения каким бы то ни было путем во имя возвеличения царской власти. Но эта государственная идея, воспринятая больным духом, приняла дикую и страшную форму. Казни гораздо меньше вызывались потребностью (хотя бы призрачной) жизни, чем царской натуры. Они были искусством для искусства, они были вечно неудачной, вечно возрождавшейся попыткой удовлетворять страсть мучительства. Но эта страсть не знает удовлетворения, зато слишком хорошо знает пресыщение, которое всегда и во всем заставляет изощряться. И Грозный изощрялся.

Будем продолжать наш рассказ, отметив предварительно один любопытный документ, относящийся к 1572 году. Документ этот – завещание Иоанна, написанное им в ожидании смерти. Как мы не раз уже видели, Грозный любил упражняться в добродетели на словах или бумаге. Так было и в этом случае. Начинается со строк, полных самоуничтожения :

“Се аз, худый раб Божий Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом, но разума не суетою одержим есмь и от убогого дому ума моего не могох представити трапезы, пищи Ангельских словес исполненны, понеже ум убо острупися, тело изнеможе, струпи телесны и душевны умножишась, и не сущу врачу

исцеляющу мя; ждах, иже со мною поскорбить, и не бе; утешающих не обретох; воздаша ми злая воз благая и ненависть за возлюбление мое. Душою убо осквернен есмь и телом окалях, яко же убо от Иерусалимских Божественных заповедей к Иерихонским страстем пришед и прельстихся мира сего мимотекущею красотою... багряницею светлости и злата блещанием, и в разбойники впадох, мысленные и чувственные; помыслом и делом усынения благодати совлечен бых одеяния, и ранами исполумертв оставлен. Аще и жив есмь, но Богу скаредными свои делы паче мертвеца смраднейший и гнуснейший, его же Иерей видев не внят и Левит возгнушався премину: понеже от Адама и до сего дни всех преминух в беззакониях. Сего ради всеми ненавидим есмь. Каиново убийство прешед, Ламеху уподобихся, первому убийце; Исаву последовах скверным невоздержанием; Рувиму уподобихся, осквернившему отче ложе, – и иным многим яростью и гневом невоздержания... Разумом растленен бых и скошен умом, понеже убо самую главу осквернихъ желанием и мыслью неподобных дел, уста рассуждением убийства и блуда и всякого злого делания, язык срамословием, выю и перси гордостию и чаянием высокоглаголивого разума, руце осязанием неподобных, и граблением, и убийством, внутренняя помыслы всякими скверными, объядением и пьянством, чресла чрез естественным грехом и опоясанием на всяко дело зло... и иными неподобными глумлениями”.

Дальше идут советы детям, из которых видно, что Иоанн прекрасно понимал, что значит быть хорошим государем. “Заповедаю вам, – говорит он, – да любите друг друга и Бог мира да будет с вами. Аще бо сия сохраните, и вся благая достигнете”. И дальше в отношении к приближенным:

“А как людей держати и жаловати, и от них беречися, и во всем их умети к себе присвоивати, и вы бы тому навыкли же; а людей бы есте, которые вам прямо служат, жаловали и любили, и от всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и они прямее служат; а которые лихи, и вы б на тех опалы клали не вскоре, но по рассуждению, не яростию”.

Затем он советует навыкать всякому делу: и божественному, и священническому, и воинскому, и судейскому, и житейскому всякому обиходу, и “как которые чины ведутся здесь и в *иных государствах*... как кто живет и как кому пригоже быти”. Он заключает следующим изречением: “подобает убо царю три сия вещи имети; яко Богу не гневатися и яко смертну не возноситися и долготерпеливу быти к согрешающим”. Чего лучше?

Почему Иоанн готовился к смерти в 1572 году, мы не знаем:

ему после завещания пришлось прожить еще целых 12 лет и вынести все муки униженного самолюбия. Пока дела шли блестяще, литовские послы не раз просили мира, Швеция была унижена. Больше всего беспокойств и горя доставляли крымцы, но в этом виноват был сам царь, не желавший действовать против них решительно. Напротив, в крымских делах он постоянно проявлял малодушие и готовность идти на уступки.

Весною 1572 года случилось нашествие хана Девлет-Гирея.

“Обойдя высланные против него войска, хан другим путем приближался к Серпухову, где был сам Иоанн с Опричниною. Требовалось решительности, великодушия: Царь бежал… в Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы; из Слободы к Ярославлю, чтобы спастися от неприятеля, спастися от изменников: ибо ему казалось, что и Воеводы, и Россия выдают его Татарам! Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства, а Хан уже стоял в тридцати верстах!”

На другой день Москва была сожжена. К счастью, Девлет-Гирей, напуганный ложными слухами о приближении Магнуса, повернул назад, но все же произведенное им разорение надолго осталось в памяти народа. В сношениях с Девлет-Гиреем Иоанн выказал характерную особенность своего характера. Грубый и заносчивый, когда на его долю выпадал успех, он совершенно не умел поддерживать своего достоинства в бедствиях. Так было и на этот раз.

Через своих послов хан обратился к нему с гордыми словами:

“*Так говорит тебе Царь наш:* Мы назывались друзьями, ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью: тогда усердно пойду на врагов твоих”. Сказав, гонец явил дары Ханские: нож, окованный золотом, и промолвил: “Девлет-Гирей носил его на бедре своем: носи и ты, Государь мой; еще хотел послать тебе коня, но кони наши утомились в земле твоей”. Иоанн отвергнул сей дар *непристойный* и велел читать Девлет-Гирееву грамоту: “Жгу и пустошу Россию (писал Хан) единственно за Казань и Астрахань, а богатство и деньги *применяю* к праху. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы твоей, но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы – и смеешь хвалиться своим Царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути Государства твоего: снова буду к тебе, если не освободишь Посла моего, бесполезно томимого неволею в России; если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих”.

В ответ на это Иоанн бил челом хану, обещал уступить Астрахань и, что особенно позорно, выдал татарам одного

знатного крымского пленника, добровольно принявшего православие, на позор и муки…

В эти же дни неслыханных бедствий царь задумал жениться в третий раз и выбрал боярышню Сабурову. Но невеста занемогла, начала худеть, сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, и подозрение пало на близких родственников умерших цариц Анастасии и Марии. Начались розыски, пытки и казни, “пятая эпоха душегубства”, как выражается Карамзин. Князь Михайло Темрюкович был посажен на кол, хотя только что получил назначение быть воеводой; вельможу Яковлева засекли. Но что особенно ужасно – это женитьба царя на больной невесте, которая через 2 недели скончалась.

Он думал о четвертом браке и действительно совершил это “церковное беззаконие”, обвенчавшись с Анной Колтовской. Любопытно, что разрешение на брак он потребовал уже после, как бы усовестившись соблазна, и, созвав епископов, обратился к ним со следующею речью:

“Злые люди чародейством извели первую супругу мою, Анастасию. Вторая, Княжна Черкасская, также была отравлена, и в муках, в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста: юность их претила мне оставить мир; а жить в мире без жены соблазнительно. Благословенный Митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал; но зависть, вражда погубили Марфу, только именем Царицу: еще в невестах она лишилась здравия и чрез две недели супружества преставилась девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию Иноческому; но, видя опять жалкую младость сыновей и Государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак. Ныне, припадая с умилением, молю Святителей о разрешении и благословении”.

Епископы наложили на царя незначительную епитимию и признали брак законным.

Глава IV. Последние годы

Мы дошли до важного 1572 года. Дух Иоанна как бы просветлел, впрочем ненадолго. Царь вдруг уничтожил опричнину. Почему? Мы этого не знаем. Быть может, опричнина просто надоела ему; быть может, ожидая смерти, он на самом деле хотел сделать что-нибудь хорошее. При отсутствии документов можно решать вопрос так или иначе, и любое объяснение представится вероятным. Как бы то ни было, с этого года исчезает гнусное слово “опричнина”, и опальная земщина получает прежнее имя России. Неожиданно началось и преследование врагов задушенного митрополита Филиппа. Царь объявил их “наглыми клеветниками”, иных отправил в ссылку, иных лишил сана и своей милости. Оставался нетронутым лишь главный – Малюта Скуратов. Но Иоанн чувствовал к нему какую-то особенную, неизменную привязанность и не изменил ей до самой смерти Малюты. Была ли это любовь или дружба? Едва ли. Малюте, единственному, удалось убедить царя в своей неизменной привязанности. Он был идеальным опричником, всегда готовым на всякое зло без малейшего колебания. Иоанн верил, что Малюта не изменит ему, и тот оставался в прежней милости, несмотря на гибель Вяземского, Басмановых и т.д. Чтобы покончить с Малютой, скажем, что он умер в 1573 году при взятии Витгенштейна, умер “честною смертью воина”, сложив свою голову во время приступа. Узнав об этом, “Иоанн изъявил не жалость, а гнев и злобу: послав тело Малюты в монастырь Иосифа Волоцкого, он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев”.

Успехи в Ливонской войне продолжались. В воображении царя уже рисовалась полная победа над врагами, и, разгоряченный удачами, он проявлял свойственную ему наглость и самомнение. Привожу как образчик его ругательное письмо к королю шведскому, относящееся как раз к описываемому времени:

“Казним тебя и Швецию, – пишет он, – правые всегда торжествуют. Обманутые ложным слухом о вдовстве Екатерины, мы хотели иметь ее в руках своих единственно для того, чтобы отдать Королю Польскому, а за нее без кровопролитий взять Ливонию. Вот истина, вопреки клеветам вашим. Что мне в жене твоей? Стоит ли она войны? Польские королевны бывали и за конюхами. Спроси у людей знающих, кто был Бойдило при Ягайле? Не дорог мне и Король Эрик: смешно думать, чтобы я мыслил возвратить ему престол, для коего ни он, ни ты не родился. Скажи, чей сын отец твой? Как звали вашего деда?

Пришли нам свою родословную; уличи нас в заблуждении: ибо мы доселе уверены, что вы крестьянского племени. О каких *древних Королях Шведских* ты писал к нам в своей грамоте? Был у вас один Король Магнус, и то самозванец: ибо ему надлежало бы именоваться Князем. Мы хотели иметь печать твою и титло *Государя Шведского* не даром, а за честь, коей ты от нас требовал; за честь сноситься прямо со мною, мимо Новгородских Наместников. Избирай любое: или имей дело с ними, как всегда бывало, или нам поддайся. Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о Варягах, которые находились в войске Самодержца Ярослава-Георгия, а Варяги были Шведы, следственно его подданные. Ты писал, что мы употребляем печать Римского Царства, нет, собственную нашу, прародительскую. Впрочем, и Римская не есть для нас чуждая: ибо мы происходим от Августа Кесаря. Не хвалимся и тебя не хулим, а говорим истину, да образумишься. Хочешь ли мира? да явятся Послы твои пред нами!”

В то же время Иоанн усиленно добивался польского престола. Мы знаем, что он потерпел в этом неудачу и вместо него был избран знаменитый князь Седмиградский Стефан Баторий – человек, от которого пришлось вынести Иоанну столько унижений. После этого избрания, прекратившего внутренние распри и неурядицы в Польше, надежды на завладение Ливонией должны были значительно ослабеть. Но Иоанн не расстался с ними и решился действовать еще энергичнее, чем прежде. Но тут-то и начался ряд неудач, упомянуть о которых нам необходимо. Прежде всего русским не удалось взять Ревеля, что значительно ободрило неприятеля. Восстали даже эстонские крестьяне и “истребляли русских без счету”. Царь собрал громадное, еще невиданное войско, и все думали, что он идет на Ревель. Неожиданно, однако, он вступил в пределы Польши. Это было 25 июля 1576 года, – день, когда и началась знаменитая война с Баторием. Иоанн был уверен в победе и, принявши смиренный вид, из-под которого, однако, сквозила сатанинская гордость и тщеславие, писал Курбскому следующее:

“Смирение да будет в сердце и на языке моем. Ведаю свои беззакония, уступающие лишь милосердию Божию: оно спасет меня по слову Евангельскому, что Господь радуется о едином кающемся грешнике более, чем о десяти праведниках. Сия пучина благости потопит грехи мучителя и блудника!.. Нет, не хвалюся честию: честь не моя, а Божия... Смотри, о Княже! судьбы Всевышнего. Вы, друзья Адашева и Сильвестра, хотели владеть Государством... и где же ныне? Вы, сверженные правосудием, кипя яростию, вопили, что не осталось мужей в России, что она

без вас уже бессильна и беззащитна; но вас нет, а тверди Немецкие пали пред силою Креста Животворящего! Мы там, где вы не бывали… Нет, ты был здесь, но не в славе победы, а в стыде бегства, думая, что ты уже далеко от России, в убежище безопасном для измены, недоступном для ее мстителей. Здесь ты изрыгал хулы на Царя своего; но здесь ныне Царь, здесь Россия!.. Чем виновен я пред вам? Не вы ли, отняв у меня супругу милую, сделались истинными виновниками моих человеческих слабостей? Говорите о лютости Царя, хотев лишить его и престола, и жизни! Войною ли, кровию ли приобрел я Государство, быв Государем еще в колыбели? И Князь Владимир, любезный вам, изменникам, имел ли право на Державу, не только по своему роду, но и по личному достоинству, Князь, равно бессмысленный и неблагодарный, высшими отцами ввержeнный в темницу и мною освобожденный? Я стоял за себя: остервенение злодеев требовало суда неумолимого… Но не хочу многословия; довольно и сказанного. Дивися промыслу Небесному; войди в себя; рассуди о делах своих! Не гордость велит мне писать тебе, а любовь христианская, да воспоминанием исправишься и да спасется душа твоя”.

Курбский не отвечал ничего: он ждал момента, который был близок. Разумеется, смирение Иоанна не обмануло его. И кого могло обмануть оно? Продолжались по-прежнему казни и пытки, погиб в застенке лучший воевода Воротынский, погибли сотни других, и правых, и виноватых. Царь тешил себя пытками и *свадьбами.*

Вот рассказ Карамзина об этом:

“В сии годы необузданность Иоаннова явила новый соблазн в преступлении святых уставов Церкви, с бесстыдством неслыханным. Царица Анна скоро утратила нежность супруга, своим ли бесплодием, или единственно потому, что его любострастие, обманывая закон и совесть, искало новых предметов наслаждения: сия злосчастная, как некогда Соломония, должна была отказаться от света, заключилась в монастыре Тихвинском, и названная в монашестве или в схиме Дариею, жила там до 1626 года; а Царь, уже не соблюдая и легкой пристойности, уже не требуя благословения от Епископов, без всякого церковного разрешения женился (около 1575 года) в пятый раз на Анне Васильчиковой. Но не знаем, дал ли он ей имя Царицы, торжественно ли венчался с нею: ибо в описании его бракосочетаний нет сего *пятого;* не видим также никого из ее родственников при Дворе, в чинах, между Царскими людьми ближними. Она схоронена в Суздальской девичьей Обители, там, где лежит и Соломония. *Шестою* Иоанновою супругою – или, как

пишут, *женищем* – была прекрасная вдова, Василиса Мелентъева. Он, без всяких иных священных обрядов, *взял только молитву* для сожития с нею! Увидим, что сим не кончились беззаконные женитьбы Царя, ненасытного в убийствах и в любострастии!”

Мне надо рассказывать теперь об успехах Батория. Напрасно первое время по восшествии на престол старался он примириться с Иоанном и устранить грозившее кровопролитие. Иоанн стоял на своем: “Ты, – писал он Баторию, – король, но не Ливонский”. Очевидно, королем Ливонским считал он самого себя. В 1578 году опять прибыли в Москву послы Батория, но и их переговоры о мире не имели успеха. Королю пришлось энергично приняться за дело. Выступив с войском, хотя немногочисленным, но прекрасно организованным, из Свора, он издал манифест к русскому народу, объявляя, что воюет против царя Московского, а не мирных жителей. В начале августа он осадил Полоцк и скоро взял его. За Полоцком пали Сокол, Красный, Козьян, Ситна и прочие. А царь, ничего не предпринимая и как бы дивясь успехам врага, стоял в Пскове. Чем объяснить удачи Батория? Это была удача талантливого полководца в борьбе с деспотом, систематически истреблявшим в своей земле все славное и выдающееся. Лучшие “мужи” давно уже погибли в застенках или на плахе, Иоанн действовал через своих клевретов и льстецов. Мог ли он рассчитывать на успех? Это обстоятельство прекрасно разъясняет Курбский в своем третьем письме к Иоанну:

“Где твои победы? – говорил он, – в могиле Героев, истинных Воевод Святой Руси, истребленных тобою. Король с малыми тысячами, единственно мужеством его сильными, в твоем Государстве, берет области и твердыни, некогда нами взятые, нами укрепленные; а ты с войском многочисленным сидишь, укрываешься за лесами, или бежишь, никем не гонимый, кроме совести, обличающей тебя в беззакониях. Вот плоды наставления, данного тебе лжесвятителем Вассианом! Един царствуешь без *мудрых* советников; един воюешь без *гордых* Воевод – и что же? Вместо любви и благословений народных, некогда сладостных твоему сердцу, стяжал ненависть и проклятия всемирные; вместо славы ратной, стыдом упиваешься: ибо нет доброго царствования без добрых Вельмож, и несметное войско без искусного Полководца есть стадо овец, разгоняемое шумом ветра и падением древесных листьев. *Ласкатели не Синклиты, и карлы, увечные духом, не суть Воеводы.* Не явно ли совершился суд Божий над тираном? Се глады и язва, меч варваров, пепел столицы и – что всего ужаснее – позор, позор для Венценосца, некогда столь знаменитого! Того ли мы хотели, то ли готовили ревностною, кровавою службою нашему древнему отечеству?..”

Письмо заключалось хвалою доблести Стефановой, предсказанием близкой гибели всего царского дома и словами: “кладу перст на уста, изумляюся и плачу!..”

Заметим, что это – *последнее* смелое и честное слово, услышанное Иоанном. Оно могло дойти до него только от изгнанника, потому что Россия молчала. Царь делал что хотел, и доказательством этому – духовный собор 1588 года, когда по его настоянию немалая часть монастырских имений отошла в казну; доказательством этому – бесчисленные, все продолжавшиеся казни. Несмотря на бедствия России, он вел обычный образ жизни и, достигши 50-летнего возраста, в седьмой уже раз женился на Марии Нагой, теша свое сладострастие. Пиры и придворные празднества развлекали его и давали ему возможность рассеивать свое мрачное настроение. А оно должно было быть ужасным. Баторий не хотел слушать никаких переговоров о мире, не шел ни на какие компромиссы. Новая уступчивость Иоанна вызывала лишь новые требования. Баторий, кроме всей Ливонии, хотел еще городов северных, Смоленска, Пензы, даже Новгорода, хотел еще взять с России 400 тысяч венгерских золотых и прислал гонца в Москву за решительным ответом. Иоанн, наконец, рассердился и отправил ему письмо, где с обычной своей мелочностью упрекал Батория за то, что он “выбранный”, а не Богом поставленный Государь. Вот что писал он:

“Мы, смиренный Государь всея России, *Божиею, а не человеческою многомятежною волею*... Когда Польша и Литва имели также Венценосцев наследственных, законных, они ужасались кровопролития: ныне нет у вас Христианства! Ни Ольгерд, ни Витовт не нарушали перемирия; а ты, заключив его в Москве, кинулся на Россию с нашими злодеями, Курбским и другими; взял Полоцк изменою, и торжественным Манифестом обольщаешь народ мой, да изменит Царю, совести и Богу! Воюешь не мечом, а предательством, и с каким лютым зверством! Воины твои режут мертвых... *Наши Послы едут к тебе с мирным словом, а ты жжешь Луки каленымиядрами* (изобретением новым, бесчеловечным); они говорят с тобою о дружбе и любви, а ты губишь, истребляешь! Как Христианин, я не мог бы отдать тебе Ливонию; но будешь ли доволен ею? Слышу, что ты клялся Вельможам присоединить к Литве все завоевания моего отца и деда. Как нам согласиться? Хочу мира, хочешь убийства; уступаю, требуешь более, и неслыханного; требуешь от меня золота за то, что ты беззаконно, бессовестно разоряешь мою землю!.. Муж кровей! вспомни Бога!”

Странно слышать такие упреки от Иоанна, если это на самом деле были упреки, а не упражнение в красноречии! Он искал уже

посредников, обращался к императору, папе... Но у него недостает героизма встать во главе войска и дать решительную битву. Как все московские государи, он больше дипломат, чем воин. Иоанна выручил героизм псковитян. Псков отражал все приступы Батория и не сдавался, несмотря на все упрямство короля. Волей-неволей пришлось заключить перемирие. “Так, – говорит Карамзин, – кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей, униженной тиранством! В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва ли не бесчестный даже, и если сохранили еще прежние свои границы, то честь этого принадлежит Пскову”.

Раздражительность и мрачность, так давно уже появившиеся в характере Грозного, достигли апогея после неудач Ливонской войны. Иоанн дошел до того, что в припадке гнева убил старшего своего сына – момент его жизни, так дивно изображенный на знаменитой картине Репина. Ближайшего повода к убийству мы не знаем. Одни говорят, что царевич настаивал на продолжении войны с Баторием и этим вывел из себя Грозного. Другие говорят другое. Несомненен самый факт, что царь сильно ударил сына жезлом в висок и уложил его почти на месте: промучавшись несколько дней, царевич скончался.

Тоска и уныние воцарились во дворце.

Иоанн снял с себя все знаки своего достоинства, “бился о гроб и землю с пронзительным воплем”, несколько ночей не спал, вскакивал с постели, валялся среди комнаты, рыдал и стонал. Он не хотел никого видеть и отказывался принимать пищу.

У него зародилась даже мысль отречься от престола.

Созвавши бояр, он сказал им торжественно, что ему, так жестоко наказанному Богом, остается лишь кончить дни свои в монастырском уединении, что меньший сын его Феодор не способен управлять Россией и не мог бы царствовать долго, что бояре должны избрать государя достойного, которому он немедленно вручит державу и сдаст царство.

Так как подобная сцена разыгрывалась не первый уже раз, и бояре не знали, испытывает ли Грозный их преданность или действительно задумывает оставить царство, то, естественно, они единогласно просили царя остаться на троне.

Иоанн как бы нехотя согласился, но удалил с глаз своих все, что напоминало ему о прежнем величии, богатстве и пышности, перестал носить корону и скипетр, надел на себя траурную одежду. “Я нашел Царя, – пишет иезуит Посеевин, посетивший Грозного в это время, – в глубоком унынии. Его пышный некогда

двор казался смиренной обителью иноков, говоря черным цветом одежды о мрачности души Иоанна".

Но исчезли ли казни и пытки? Нет. Только по ночам страшная гостья, совесть, все чаще стала наведываться к царю. Тени убитых и казненных им являлись к нему и требовали отчета. Он доходил до галлюцинаций, не мог спать один в комнате, бродил как тень по обширным палатам дворца своего. Заря разгоняла призраки.

Начинались новые пиры, новые пытки.

Упомянув о войне и перемирии со Швецией (1582 – 1583), о завоевании Сибири, о бунтах казанских народностей и оставив в стороне эти факты, которые найдем в любом учебнике, мы можем перейти к описанию последних дней жизни Иоанна.

Они были мрачны.

Иоанн не любил Марию и ничуть не дорожил ею. Он взял ее себе в *седьмые* жены больше для поддержания достоинства, чем для чего-нибудь другого. И зачем, собственно, нужна была ему эта "мягкая", плаксивая и добродушная женщина? Иметь на него какого бы то ни было влияния она не могла, а вспышка сладострастия исчезла так же быстро, как и появилась. Но Мария была беременна, и Иоанн знал это. Однако как раз во время первой беременности жены он заводит переговоры с английской королевой Елизаветою о новом браке на какой-нибудь ее родственнице. Новый брак должен был заключиться по расчету, и, отправляя в Лондон дворянина Писемского с поручением устроить брак, царь прежде всего требует, чтобы посол условился о тесном государственном союзе между Англией и Россией. Невеста была намечена, именно тридцатилетняя племянница королевы – Мария Гастингс. Выдвигая, однако, на первый план свои политические устремления, Иоанн не забывает и похотливых видов, во имя которых он строго-настрого наказывает Писемскому самолично убедиться, высока ли тридцатилетняя мисс, дородна ли, бела ли? Иной, впрочем, царица по представлению того времени и быть не могла. Предвидя со стороны Елизаветы возражения, что "он уже женат", Иоанн приказал объяснить: "правда, но настоящая жена его не Царевна, не Княжна Владетельная, ему неугодна и будет оставлена для племянницы Государевой". Как сильно хотелось Иоанну породниться с английским королевским домом, видно, между прочим, из того пункта набросанного брачного контракта, в котором царь говорит, что "наследником Государства будет царевич Феодор, а сыновьям княжны Английской дадутся *особые частные владения или уделы,* как издревле водилось в России". Иоанн, очевидно, изменяет традициям московских князей и

жертвует даже целостью и единством государства, которые он всегда с такою жестокостью защищал. Посольства Писемского подробно описывать мне незачем. Остановлюсь на самом характерном.

Преследуя свои торговые интересы, английские министры не только ничего не имели против союза с Россией, но и очень радовались ему, а при заключении его заботились исключительно о том, чтобы побольше выторговать на пользу и благо своих купцов. Иоанн, по заявлению Писемского, “издавна жалуя англичан как своих людей, намерен торжественным договором утвердить дружбу с Елизаветою, дабы иметь с ней одних приятелей и неприятелей, вместе воевать и мириться, что королева может ему содействовать если не оружием, то деньгами, что он, не имея ничего заветного для Англии из произведений российских, требует от нее снаряда огнестрельного, доспехов, серы, нефти, меди, олова, свинцу и всего нужного для войны”. Этого хотел Иоанн, не менее хотел он и женитьбы на Марии Гастингс, она окажется в должной степени дородной и белой. Писемскому устроили свидание с принцессой, и он рассматривал ее во всех подробностях, насколько, разумеется, допускал скромный костюм ее. Впечатление, произведенное Марией на посла, было, по-видимому, в ее пользу. Елизавета желала брака: дело улаживалось и расстроилось лишь потому, что невеста, услышав “о свирепости венценосного жениха, убедила королеву избавить ее от этой чести”. Сватовство к Марии не удалось. Не удался и союз с Англией – эта любимая мечта последних дней жизни Иоанна. Смерть его приближалась, неожиданная как для него самого, так и для окружающих.

Вплоть до зимы 1584 года Иоанн крепился и чувствовал себя почти здоровым. Его могучий организм выносил разврат и пьянство, выносил и муки самолюбия, обиженного неудачами войны. Царь, перешагнув за пятидесятилетний возраст, ни в чем не думал менять обычного своего времяпрепровождения. Как и раньше, развлекался он казнями, как и раньше, служил он своему сладострастию. Дух его не угомонился; то же обострившееся, даже тревожное беспокойство не давало спать ему по ночам, заставляя бродить целыми часами по мрачным комнатам дворца.

Зимою 1584 года между церквами Иоанна Великого и Благовещения появилась комета с крестообразным небесным знамением. Царь, узнав об этом, вышел на красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружавшим: “Вот знамение смерти моей”. Предчувствие не обмануло его. Желая рассеять тревогу, он созвал в свой дворец астрологов, мнимых волхвов, разыскав их и в России, Лапландии, в общей сложности

до 60-ти человек, ежедневно посылал к ним Бельского толковать с ними о комете и скоро опасно занемог: вся внутренность его стала гнить, а тело – пухнуть. Астрологи предсказали ему смерть на 18 марта; Иоанн приказал им молчать об этом, угрожая в случае нескромности сожжением. Февраль он перемогся еще, в марте ему уже пришлось отказаться от приема литовского посла. Тогда же он приказал составить завещание и объявил Феодора наследником, назначив на помощь ему совет из бояр. Что-то доброе промелькнуло в его сердце в эту торжественную минуту…

“Он изъявил благодарность всем Боярам и Воеводам; называл их своими друзьями и сподвижниками в завоевании Царств неверных, в победах, одержанных над Ливонскими Рыцарями, над Ханом и Султаном; убеждал Феодора царствовать *благочестиво, с любовию и милостию;* советовал ему и пяти главным Вельможам удаляться от войны с Христианскими Державами; говорил о несчастных следствиях войны Литовской и Шведской; жалел об истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников, Литовских и Немецких. Казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с Богом – отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желал спасти юного сына от своих гибельных заблуждений”.

Но это только “казалось”, только “промелькнуло”. Даже смерть, так ясно заявлявшая о своем приближении трупным запахом разлагавшегося, хотя еще живого царя, не могла справиться с его неукротимой натурой. Рассказывают, что невестка, супруга Феодора, подошла к его постели, и должна была убежать с омерзением от любострастного бесстыдства Иоанна! Продолжались и казни.

17 марта Иоанну стало лучше, и он, уже воспрянув духом, назначил день для приема посла. Мало того, он заявил Бельскому: “Объяви казнь лжецам астрологам: ныне по их басням я должен умереть, но я чувствую себя гораздо бодрее”. Бодрость оказалась, однако, последней судорогой уходившей жизни. Пробывши несколько часов в ванне, царь лег на кровать, потом встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постели, сам расставил шашки, приглашая Бельского играть с ним. Вдруг он упал, чтобы больше не подниматься.

Глава V. Литература об Иоанне Грозном

Мало в русской истории личностей, которые привлекали к себе такое дружное внимание со стороны людей самых различных профессий, как личность царя и великого князя московского Иоанна IV Васильевича Грозного. Ею занимались специалисты-историки, публицисты, драматурги, поэты, беллетристы, художники и скульпторы. Еще недавно И. Репин написал свою знаменитую картину, где изобразил царя в момент убиения им старшего сына. На виду у всех одна из лучших статуй Антокольского – "Иван Грозный"; драма Островского "Василиса Мелентьева" хотя не часто, но все же дается на императорской сцене. Есть, значит, в личности Грозного что-то притягательное, способное возбуждать художественное воображение у лиц самых различных наклонностей и темпераментов. Ради Грозного Костомаров бросил даже тон и форму историка и перешел на беллетристику, в результате чего и появился всем известный, хотя и неудачный "Кудеяр". А сколько полемики возбуждал Грозный – это даже перечислить трудно. Что же, знаем ли мы его в конце концов, или нет? Казалось бы, странно даже ставить такой вопрос. Работы таких историков, как Карамзин, Полевой, Костомаров, Кавелин, Соловьев, Бестужев-Рюмин, находятся перед нами, но, как пошутил кто-то, "Грозного все же нет, а есть Грозный костомаровский, соловьевский и т.д.". Рассматривая характеристики Грозного, говорит Н. К. Михайловский, совершенно независимо от большей или меньшей степени мастерства, с которой они написаны, вы поражаетесь их разнообразием: одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при всем том совершенно-таки разные лица – то "падший ангел", то просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья, без руля и без ветрил, то личность, недосягаемо высоко стоявшая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая всем лучшим стремлениям своего века. Несколько раз, именно после появлений характеристик Аксакова и Соловьева, компетентные люди провозглашали, что "отныне конец разногласиям в оценке личности и деятельности Грозного". Однако другие, не менее компетентные люди, немедленно же восставали против таких победных возгласов и выставляли веские опровержения и ограничения. В результате – сумбур, в большей

или меньшей степени блестящий и остроумный, но все же приводящий внимательного читателя в самое искреннее недоумение.

Будет полезно напомнить главнейшие характеристики Грозного, так как в каждой из них заключается доза истины.

Начнем с князя *Щербатова.* Это историк XVIII века. “Иван Грозный, – говорит он, – именитый в земных владыках, но разумом, узаконениями, честолюбием, завоеваниями, потерями, гордостью в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является”. В этих словах прекрасно указана сложность натуры Грозного, казнившего после молитвы и молившегося после казни. Щербатов ставит царя высоко, видит в нем “великий и проницательный разум”, называет узаконения “мудрыми”, но рядом с этим отмечает другую черту – *“низость сердца”.* Эту низость сердца Иоанн сдерживал в себе в юности, но, утвердившись на престоле и утеряв первую супругу Анастасию, дал ей свободу, и перед нами – все ужасы второй половины его царствования.

Честнее (в научном смысле слова, разумеется) других историков отнесся к Грозному *Карамзин.* Не пускаясь в мудрствования лукавые, оградив свои выводы стройным рядом окопов из всех доступных ему документов, – Карамзин в тех местах, где он не понимал, прямо и откровенно сознавался в этом. В общем характеристика его сводится к следующему.

Рожденный с пылкою душою, редким умом, особенною силою воли, он не имел “мудрого пестуна”, а попал в руки развратителей. Такое воспитание привело к нему пороки, встречавшие со стороны окружающих лишь низкое поощрение. Так рос и вырос Иоанн IV и, достигши возмужалости, женился. Мало что предвещало в нем мудрого царя, и брак на добродетельной Анастасии нисколько не урезонил его: продолжались прежние буйства и прежнее нерадение в делах государственных. Настал, однако, 1547 год. Страшный погром истребил большую часть Москвы, измученная страданиями чернь взбунтовалась, перебила царских родственников. “В сие ужасное время, когда Иоанн трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новгорода... Сильвестр потряс душу и сердце, овладел воображением юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком”. Начинается счастливый период его царствования, ознаменованный речью на Лобном месте, изданием “Судебника” и т. д. Но “счастье непродолжительно”. В 1560 году умерла Анастасия, а вместе с нею исчезла и добродетель Иоаннова.

“Здесь, – говорит Карамзин, – конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели”. Он превращается в тирана, и порою Карамзин не находит даже слов, чтобы заклеймить его жестокости. В “тиранстве” Грозный пребывает до самой смерти.

Несомненно, что для Карамзина Грозный – неразрешимая психологическая задача, странная смесь добра и зла, тиран, поражающий его то своею жестокостью, то малодушием, то проницательностью, то полным затмением мысли. *Полной* и стройной характеристики Карамзин не дал; различные формы, через которые проходит личность Иоанна, охарактеризованы им великолепно, но органически эти формы не связаны между собою: переходы от распутства к добродетели и обратно не выяснены, случайны и даже чудесны. Но все же для изучения Грозного Карамзин сделал более чем кто-нибудь другой, и его искреннее “не понимаю” равняется многим блестящим характеристикам. Не понимать многого из жизни и деятельности приходится и теперь, – в чем прямо и непосредственно виновата русская история как наука.

Полевой выдвигает на сцену фактор наследственности: “Соображая жизнь, дела, слова Иоанна, – говорит он, – видим, что сын Василия и внук Иоанна III *имел все недостатки отца и деда* (вспыльчивость, жестокость, трусливость и пр.), уступая последнему в самобытности характера и обширном уме, не имея нежности душевной, свойственной последнему. Вспомним жестокость, суровость Иоанна III, склонность к забавам и неголюбие Василия. В Иоанне IV соединилось то и другое. И такой характер был испорчен несчастным воспитанием, приучившим его к двум противоположностям: своеволию и самовластию и в то же время к послушанию людям, превосходящим его умом, дарованием, хитростью, умевшим искусно завладеть им. Так, в юности своей Иоанн подчинялся Глинским, казня Шуйских; покровительствовал впоследствии клевретам своим, казня доблестных советников; унижался перед Баторием, терзая Магнуса и Ливонию. Привыкая повиноваться, он готов был страшно мстить своему повелителю, когда сознавал свою зависимость. Самая любовь его к Анастасии не походила ли более на привычку повиноваться воле человека, которого достоинства умел он оценить... После смерти Анастасии, разрыва с Сильвестром и Адашевым и свидания с Вассианом – иноком, рекомендовавшим ему не держать возле себя советников умнее себя, поступки Иоанна постепенно становились самовластительнее, мало-помалу отвыкал он от послушания советам других, противился предприятию правителей против

Крыма и вопреки всем увещаниям начал Ливонскую войну. Он уверился в себе, перестал верить им. Оставалось ударить роковому часу перелома и душой Иоанна овладеть пороку и страстям. Настал сей час, и тогда все погибло в одно мгновение: счастие, слава Иоанна, Адашева и Сильвестра. Но следы сего находим далеко прежде". Полевой смотрит на Иоанна прежде всего как на человека слабого, несамостоятельного.

Апология Грозного, как это ни странно, началась лишь со времени *Белинского.* "Таков Иоанн, – пишет последний, – это была душа энергическая, глубокая, титаническая. *Стоит только пробежать в уме жизнь его, чтобы убедиться в этом".* И дальше: *Иоанн был падший ангел,* который и в падении своем по временам обнаруживает и силу характера железного, и "силу ума высокого". На оценку Белинского положиться очень трудно, совершенно даже невозможно: наш знаменитый критик мало был знаком с историей и личное, иногда минутное настроение слишком много значило в его рецензиях и характеристиках.

Кавелин пошел еще дальше. Белинский удивляется силе Иоанна, Кавелин – его государственной мудрости и чуть ли не впервые сравнивает Иоанна с Петром: "Оба, – говорит Кавелин, – равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими и достойнейшими ее представителями. Но Иоанн сознавал ее как поэт, Петр – как человек по преимуществу практический. У первого преобладает *воображение,* у второго – *воля.* Время и условия, при которых они действовали, положили еще большее различие между этими двумя государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менее реальной чем преемник его мыслей, Иоанн изнемог, наконец, под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать, борясь с ней на смерть много лет, и, не видя результатов, не находя отзыва, он утерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучением: он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик". Кавелин доходит до оправдания опричнины.

Не знаю, что видит читатель во фразах Кавелина, но я в них ничего не вижу, кроме громких слов. Любопытно, однако, что, собственно, заставило Кавелина так ласково и почтительно отнестись к Грозному? "Кто знает, – говорит Кавелин, – любовь Грозного к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он старался облегчить его участь, тот не скажет, что опричнина – зло. Опричнина была первой попыткой создать служебное

дворянство и заменить им родовое вельможество: на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства". Что Иоанн выдвигал на сцену мизинных людей – это несомненно. Но чтобы такова была программа его царствования, сомневаться в этом не только можно, но и должно. Особенно любопытно, что Кавелин во всем винит *среду,* которая-де и погубила Иоанна. Насколько эта среда была лучше при Петре после всех ужасов XVII века? Подобного сравнения Кавелин, однако, не делает, отчего вся его аргументация повисает в воздухе. Неужели среда с Адашевым, Курбским, митрополитом Филиппом, людьми, известными всенародно, собиравшимися на земских соборах, была так губительна? Неужели она не руководила Иоанном, не восставала против жестокостей его, не указывала верного пути? Но что Иоанн *презирал и ненавидел среду, в которой он жил,* – в этом г-н Кавелин прав, и это мы запомним.

В VI томе своей знаменитой "Истории" *Соловьев* выставляет Грозного представителем чистой государственной идеи. Признавая, что Грозный был испорчен воспитанием, Соловьев старается, однако, по возможности, обелить и возвысить его: "Голова ребенка, – говорит историк, – была постоянно занята мыслью о борьбе с боярами, о своих правах, о бесправии врагов, о том, как дать силу своим правам, доказать бесправие противников, обвинить их. *Пытливый* ум ребенка требовал пищи: он с жадностью прочел все, что мог прочесть, изучал церковную историю, римскую историю, русские летописи, творения св. отцов. Но во всем, что ни читал, он искал доказательств в свою пользу; занятый постоянно борьбой, искал средств выйти победителем из этой борьбы, искал везде, преимущественно в Священном Писании, и доказательств своей власти против беззаконных мер, отнимавших ее у него. Испорченный в детстве, он прежде всего проявил свои права жестокою казнью Шуйского. Мало того, желая разъединить боярство и народ, союз которых выразился в бунте черни против Глинских, он созвал знаменитый собор, на котором объявил бояр как собственными врагами, так и врагами государства". Признавая влияние Сильвестра, Соловьев отводит ему второстепенную роль, стараясь выгородить самостоятельность царя, который отличался "сильной не по летам степенью развития ума и воли". Издание "Судебника", "Стоглава", Казанский поход – все это, по крайней мере инициативу всего этого, Соловьев приписывает Иоанну. Почему же последний вдруг так резко изменился? – Он изверился в преданности советников, а также и в их проницательности. Когда он замышлял поход на Ливонию или требовал похода на Крым, и

бояре противились тому и другому, не понимая его замыслов, предвосхитивших замыслы Петра, – это доказало ему их непроницательность; во время болезни, так как многие из рады отказались присягнуть сыну его Димитрию, – они, по мнению Иоанна, доказали неискренность своей привязанности. Душа царя омрачилась. Начались казни. Но и эти казни все же служили цели, поставленной себе Иоанном. Цель эта заключалась в том, чтобы дать торжество государству и государственному началу, сломить и уничтожить вольный боярский и дружинный дух, искоренить последние следы местной независимости или даже самую тень ее.

По Соловьеву, Грозный является перед нами исторической личностью, предшественником Петра в своих замыслах сблизиться с Европой, человеком проницательного ума и сильной воли, которого, однако, не оценили и не поняли среда и приближенные. Жестокость объясняется как результат дурного воспитания; несмотря на нее, заслуги Грозного громадны. Строй дружинной удельной Руси дал в царствование Грозного последнюю отчаянную битву крепнувшей монархической власти, и эта последняя победила. Грозный создал единое, нераздельное государство, родовое начало было уничтожено, все были объявлены слугами государства.

Соловьеву отвечали Погодин и Аксаков.

Погодин считает планы Грозного неоригинальными. Он шел лишь по дороге, указанной его дедом, который сделал гораздо больше; Грозный затем стремился не к торжеству монархии, а слепого, личного произвола. Вообще же о мерах Иоанна Погодин отзывается так: “Что есть в них высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом и только. Надо же ведь, чтобы такое существо, как Иоанн, потерявшее образ человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославителей!”

Аксаков охарактеризовал личность Грозного в высшей степени оригинально: бояре, по Аксакову, даже и не боролись с царем, а противопоставляли ему одно терпение. Все жестокости истекали из личных особенностей натуры царя. Что же это была за натура? Иоанн IV был природа художественная, художественная в жизни. Образы являлись ему и увлекали своей внешней красотой; он художественно понимал добро, красоту его, понимал красоту раскаяния, красоту доблести, и, наконец, самые ужасы влекли его к себе своею страшной картинностью. Но одно чувство художественности, не утвержденное на строгом и суровом нравственном чувстве, есть величайшая опасность для души человека. С одной стороны, оно не допускает человека

испытать ни одного чувства правдиво, ибо человек, наслаждаясь красотою чувства, им испытываемого, или дела, им совершаемого, не относится к ним цельно и непосредственно: он любуется ими, он любит красоту, а не самое дело. Вот отчего и в истории, и в частной жизни встречаем мы такие явления, что человек, например, плачет умильными слезами, слыша рассказ о кротости и великодушии, а в то же время мучает и терзает ближнего; и он не обманывает: эти слезы непритворны, но он тронут как художник – с художественной стороны, а одно это еще ничего не значит и на действительность это не имеет влияния. Человек довольствуется здесь одним благоуханием добра, а добро для него сама по себе вещь слишком грубая, тяжелая и черствая. Это человек безнравственный на деле, но понимающий красоту добра и приходящий от нее в умиление. Дело, самое добро ему не нужно и не под силу, он чувствует только, как оно изящно, хорошо, и довольствуется этим. Такое состояние почти безнадежно. Ибо тот, кто не понимает добра и не чувствует, может понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тот же, кто чувствует добро, но только художественно, кто наслаждается его благоуханием, а дело самое откладывает, тот едва ли может исправиться. Но есть другая сторона художественного чувства, в свою очередь губящая человека. Художественное чувство может отыскать красоту в самом диком и низком явлении. Аксаков, впрочем, оговаривается, что, конечно, не одна эта художественность определяла поступки Иоанна IV, что были в его душе и другие двигатели, но художественность играла все-таки большую роль. Жестокий уже в детстве, Иоанн подавлял свою страстную натуру при Сильвестре и Адашеве, хотя никогда не был орудием в их руках, а затем он избавился от своих советников, сбросив с себя нравственную узду стыда. Звание царя слилось в его понятии с произволом, и этот произвол явил полное отсутствие воли в человеке, ибо отсутствие воли и необузданная воля – это все равно.

Не считаю нужным останавливаться на взглядах *Костомарова,* который в данном случае явился продолжателем Карамзина. Его характеристика, однако, строже и выдержаннее и, если можно так выразиться, еще более уничижительна. Грозный – труслив, малодушен; всякий, кому не лень, руководит им; никаких государственных замыслов и программ в его голове нет, есть лишь прихоти и капризы безумной, жестокой натуры, любящей театральные эффекты и т. д. Пропускаю и мнение Бестужева-Рюмина, как близко примыкающее к мнению С. Соловьева.

Итак, не прав ли Щербатов, говоря, что “Грозный в столь

разных видах представляется, что часто не умным человеком является!" И так не только в жизни, но и в литературе, где ряд таких остроумнейших характеристик мало выясняет дело, а иногда просто запутывает его.

Читатель, полагаю, заметил, что главные пререкания между историками сосредоточились возле двух крутых вопросов: "Была ли у Иоанна самостоятельная воля и можно ли считать его деятельность проникнутой государственной идеей?" Очевидно, что характеристика Грозного может быть дана лишь после того, как оба эти вопроса будут досконально разрешены. Но рассчитывать, что это может быть сделано сейчас же, невозможно и неосновательно. Что, например, знаем мы о Сильвестре, Адашеве и избранной раде? Кое-что мы, разумеется, знаем, но это "кое-что" незначительно. Одинаково трудно определить, к чему сводилось влияние Анастасии и каким образом влияние это действовало в том же направлении, как и избранной рады, хотя царица недолюбливала ее и даже враждовала с нею. По поводу боярских притязаний в XVI веке еще и теперь идут серьезнейшие пререкания; одни эти притязания отрицают, другие преувеличивают их до такой степени, что русское боярство оказывается чуть ли не английской аристократией! Если же мы так плохо знаем историю той эпохи, среди которой жил и действовал Грозный, то, на время, по крайней мере, мы принуждены отказываться от претензий на полную и истинную его характеристику. Но если такая характеристика является идеалом, то все, что содействует ей, все, что открывает в характере Грозного новые незамеченные еще стороны, заслуживает полного внимания.

Позволю себе поэтому привести характеристику *Н.К. Михайловского,* очень оригинальную и делающую несомненно большой шаг вперед в интересующем нас вопросе.

"Один из предков Иоанна IV, великий князь Василий Дмитриевич, хорошо выразил программу всех владык московских в словах, сказанных им митрополиту Киприану: "Вы поставлены к миру и любви учити, мне же имение собирати и возноситися". Иоанн IV лишь придал особенную, правово-безумную цветистость этой программе. В нем действительно билась отмеченная К. Аксаковым художественная жилка, отвлеченно художественная, лишенная всякой нравственной основы, и часто "имения собирати и возноситися" ему было мало. Нужны были еще блеск, картинность, художественное упоение величия. Но главным определяющим фактором жизни и деятельности Грозного была все-таки не художественность натуры, а несчастное сочетание крайней слабости воли и сознания с непомерной властью,

недаром пугавшею современников". И дальше: русский *психиатр,* который пожелал бы заняться, нашел бы прежде всего в его, по-видимому, врожденной кровожадности (еще ребенком он занимался мучительством животных), в несомненном слабоумии его брата Юрия, в жестокости его старшего, убитого им, сына Иоанна, в скудоумии его другого сына Федора – намек на *отягченную психопатическую наследственность.* Затем хотя историки-апологеты ищут и находят оправдание подозрительности Иоанна в поведении и настроении бояр, но некоторые его выдумки в этом отношении отмечены уже несомненно печатью безумия. Таково, например, его намерение бежать в Англию, для чего он даже вступал в специальные переговоры с королевою Елизаветою, жалуясь на измены и заговоры, не дающие ему спокойно жить в России. Таково его завещание 1579 года. Только что разгромив Новгород и Псков, совершив казни в Москве, Грозный пишет в завещании: "Изгнан я от бояр ради их самовольства, от своего достояния и скитаюсь по странам". Это не простая ложь, это *явная мания преследования.* Вообще в целом ряде поступков Иоанна IV, в которых историки-апологеты старательно разыскивают следы великих государственных планов, – специалист-психиатр, я уверен, найдет лишь следы расстроенного духа.

Дальше г-н Михайловский говорит о том, что слабая голова Иоанна не выдержала величия власти и помрачилась. Ход психологического развития Грозного он характеризует таким образом: "Грозный был великим князем, хотя и номинальным, с трех лет. Бояре, правда, делали что хотели, но и ему предоставляли делать что он хочет, поощряя его, по-видимому, от природы дурные наклонности и тем окончательно расслабляя его и так уже слабую волю. Митрополиту Макарию, Сильвестру, избранной раде удалось погнуть эту слабую волю в добрую сторону, внушив Ивану высокое понятие об обязанностях христианского государя – предоставив его несомненным ораторским дарованиям блестящее поприще на Лобном месте перед боярами, на Стоглавом соборе, под Казанью. Иоанн тешился этой ролью; Русь крепла, росла, но вместе с тем росла и непомерная гордость Иоанна. Вознесенный удачами, лестью, собственными аппетитами превыше всех земнородных, сравниваемый то с Августом, то с Константином Великим, Иоанн в один несчастный для России день понял, что не он был инициатором совершившихся высоких дел, что он совершил их по указке попа Сильвестра и "собаки-Адашева" с братией. Понятны страшные взрывы его гнева. Конечно, он тотчас же попал под другие влияния. Эти влияния уже не звали его к великим делам,

но не мешали ему лично возноситься над несчастной Русью. В его развинченной душе не осталось ничего, кроме идеи, и даже не идеи, а ощущения всемогущества, которому он приносил в жертву все. Каждая мелькнувшая в голове мысль или внушенная каким-нибудь Басмановым, превращалась Грозным немедленно в действие, минуя всякие задерживающие центры. Гнев на сына в ту же минуту разрешается убийственным ударом костыля. Дикая фантазия посадить на престол всея Руси татарина Симеона Бекбулатовича тотчас же осуществляется. Взгляд на красивую женщину – и она становится его второю, третьею, пятою, седьмою женой. Польза и нужды молодого, объединенного государства не существуют. Девлет-Гирей сжигает Москву, Баторий наносит русским войскам поражение за поражением, а царь хлопочет только о том, чтобы уколоть Батория его малым королевским достоинством, добивает недобитых воевод и советников, заменяя их шпионами, грабителями и кровопийцами. Добивает же он не потому, что они изменники, даже не по той причине, по которой он велел изрубить присланного ему в подарок от шаха слона. Слон пострадал за то, что заупрямился встать перед русским царем на колена, а бояре и народ делали это охотно. Доставалось от Грозного серому народу, но боярам доставалось действительно больше, единственно, однако, потому, что *они были видны, цветные,* все равно как Калигула ненавидел высоких людей: они просто бросались в глаза. Если же Грозный создал легенду о принципиальной борьбе с боярами, то известно, что маньяки иногда подыскивают чрезвычайно замысловатые объяснения для своих поступков, совершенно бессмысленных... Есть, однако, и важное различие между римским тираном и Иоанном. История не оставила нам никаких следов тому, чтобы Калигула или Нерон угрызались когда-нибудь совестью. Грозного же эта страшная гостья посещала. Наглотавшись крови и чувственных наслаждений, Грозный временами каялся, надевал смиренную одежду, молился за убиенных. Может быть, здесь была известная доза лицемерия или все той же душевной развинченности... Как бы то ни было, Грозный шатался из стороны в сторону, от греха – к покаянию”.

Заключение

Г-н Михайловский поставил вопрос о личности Грозного на новую и оригинальную почву. Он рассматривает Иоанна прежде всего как болезненную натуру, как маньяка, как человека без воли, который страдает отсутствием сдерживающего начала внутри себя. Однако аргументация г-на Михайловского особенной полнотой не отличается, и более точный психиатрический анализ необходим. В ожидании его со стороны людей сведущих позволю собрать воедино разбросанные по книге замечания и обрисовать личность Грозного, насколько я ее понимаю.

Полевой, замечательная история которого, кстати сказать, так блистательно забыта нами, первый заговорил о наследственных элементах в характере Грозного. Жестокость деда, без его сильного ума, нега и сластолюбие отца – таковы, по мнению Полевого, определяющие элементы наследственности. Мне бы хотелось прибавить к этому блестящую, но не глубокую и вместе с тем пылкую натуру матери, о которой, правда, мы знаем маловато, но кое-что все же знаем. В Елене Глинской было много лоску, легкомыслия, много женственности наконец, уживавшейся, однако, с известной сухостью сердца. Быть может, ей обязан Грозный подвижностью ума, игривой и быстро возбуждающейся фантазией, что делает его так непохожим на малоподвижных и тяжелых даже князей-хозяев московских. Эти качества отличали Грозного не только от его предков, но и от современников, которых он и презирал за их глупость, вернее за их умственную сонливость. Грозный был красноречив, трудно сомневаться, что у него был настоящий ораторский и диалектический талант, немало остроумия, остроумия, однако, поверхностного и делавшегося страшным лишь в припадке гнева. Гораздо важнее отметить, что наследственность Иоанна IV была болезненной. Не знаю, возможно ли это оспаривать? Кто же не знает, что брат его Юрий “слабоумен был”, а все дети – Иоанн, Федор, царевич Димитрий, страдавший, вероятно, эпилептическими припадками, – ненормальными. Иоанн отличался жестокостью и сладострастием; Федор управлению государством предпочитал занятия пономаря; Димитрий часто падал в судорогах с пеной у рта. Такого факта психиатр не может оставить без внимания. И трудно на самом деле всю жестокость Грозного выводить из воспитания и только одним им объяснять ее. Она проявилась слишком рано, сначала в мучительстве над животными, потом – над людьми. Мерзость воспитания, полученного Грозным, упала на готовую почву и, соединившись с наследственным

предрасположением, создала невиданную свирепость палача-художника, пытавшего и казнившего как артист и любитель. Оттого ничто не могло успокоить Иоанна, ничто не могло умиротворить его. Но жестокость – далеко не единственный признак болезни. К ней надо прибавить указанное выше эротическое исступление, что идет обыкновенно рука об руку. Напоминать ли читателю Нерона и Калигулу, Гелиогабала и Каракаллу, этих всем известных мучителей и сластолюбцев; напоминать ли ему героев Достоевского, у которых сладострастие и жестокость всегда так тесно связаны между собою? Насколько я знаком с психопатологией (а я не специалист), то для меня очевидно, что и эротическая аномалия, и жестокость находятся между собою в непосредственной причинной зависимости. Ее можно было бы подтвердить многочисленными примерами, но все эти примеры настолько грязны, что я предпочитаю этого не делать и отошлю читателя или к специальным сочинениям по психиатрии, или, что проще еще, к “Братьям Карамазовым” Достоевского, где близкий союз этих обоих противоестественных качеств показан в ярких художественных образах. Как это ни странно, но теперь как раз будет уместно задать себе вопрос о религиозности царя Иоанна. Религиозность религиозности рознь. Перед одной мы преклоняемся, затрудняясь найти более высокое проявление человеческого духа, другая вызывает в нас – и не может не вызвать – самое искреннее отвращение, иногда жалость. В религиозности Грозного я не сомневаюсь и думаю, что бывали минуты, когда он как нельзя более искренне клал земные поклоны до синяков и ран на лбу, подавал поминание о душах усопших и убиенных, наивно предоставляя Господу Богу сосчитать их и сам отказываясь от такой мудреной задачи. Да, были такие минуты, как бывали минуты покаяния и угрызений совести. Правда, в религиозности Грозного много формализма. Эта черта тонко подмечена еще Карамзиным, который пишет: “Платон говорит, что есть три рода безбожников: одни не верят в существование богов, другие воображают их беспечными и равнодушными к деяниям человеческим, третьи думают, что их всегда можно умилостивить легкими жертвами или обрядами благочестия. Иоанн и Людовик принадлежали к сему последнему разряду безбожников”. Думаю, что не только *это,* хотя в защиту мнения Карамзина можно привести достаточное число фактов; например, убив сына, Грозный прежде всего отправил 10 тысяч рублей в Константинополь, чтобы греческие монахи во главе с патриархом замолили грех его, сам он во время пребывания в Александровской слободе почти безвыходно находился в церкви. Все это так; но, во-первых, благочестие XVI века неразрывно

соединено с формой, а во-вторых, как бы грубо ни понимал Грозный Божество, отрицать мистические эмоции в его душе у нас нет никакого основания. Напротив, у нас есть полное основание признавать их. Из психопатологии известно, что эротические аномалии и мистический *ужас* сродни друг другу, и это опять-таки драгоценное указание науки. Не буду объяснять, *как* и *почему* сродни, достаточно привести факт, если и не общепризнанный, то все же не раз констатированный самыми остроумными авторитетами. Разумеется, *такая* религиозность нисколько не мешала жестокости Грозного, ему случалось давать свирепые распоряжения в самой церкви, во время службы; его казни начинались обыкновенно молебнами и заканчивались панихидами. Но ведь такая религиозность – порывистая, экзальтированная – и мешать-то ничему не может, как не может мешать жестокости *понимание* того, что хорошо, что дурно, если в душе человека нет нравственного чувства любви и состраданияк ближнему. Отсутствие такого нравственного чувства у Грозного несомненно. Видя перед собой Шибанова, вполне признавая благородство и героизм его поступка, Грозный, однако, отправляет его в застенок и подвергает всем ужасам муки. Ни прощать, ни миловать Грозный не умел, хотя, разумеется, мог бы по поводу милости произнести блестящую речь, подкрепив ее многочисленными цитатами из Ветхого и Нового Завета. Всего естественнее предположить, что источником всех этих указанных аномалий характера, прекрасно уживавшихся с остротой и проницательностью ума, является та форма душевного расстройства, которая известна в науке под именем “moral insanity” – “нравственная болезнь”. Достаточно нескольких строк, чтобы ознакомить с нею читателя. Каждому приходилось сталкиваться с людьми, которые в умственном отношении представляются совершенно здоровыми, прекрасно понимают, что хорошо и что дурно, и вместе с тем способны совершить ряд самых безнравственных поступков. Понимание добра и зла является в этом случае таким же чисто умственным процессом, как решение геометрической задачи. Этот процесс совершается правильно, иногда даже блестяще, по всем законам логики, но он нисколько не захватывает ни чувства, ни нравственных инстинктов. В этом-то все и горе, так как процесс, являясь чисто формальным, не может тем самым оказывать ни малейшего влияния на поступки человека. Он весь сосредоточен в области мысли, рассуждения. Сплошь и рядом бывает так, что даже мотив безнравственного поведения остается непонятным; определяющим моментом является случайно промелькнувший каприз или прихоть. Впервые такого рода нравственное

помешательство было научно констатировано в начале нынешнего века Пинелом, который и назвал его “manie sans delire” – “мания без галлюцинаций”, хотя в осложненной форме галлюцинации могут и быть. Ричарде, англичанин, определил эту психическую болезнь термином “moral insanity”. В пятидесятых годах французский ученый Морель впервые заговорил о вырождении, дегенерации и целым рядом наблюдений показал, что люди, страдающие нравственным помешательством, представляют собою один из характерных видов вырождения. Благодаря этому элементу наследственности, нравственное помешательство можно наблюдать уже в раннем возрасте: дети, страдающие им, отличаются удивительной жестокостью, мучают животных, не питают ни к кому привязанности – в лучшем случае привычку – и доставляют много тяжелых минут окружающим. В школьном возрасте они обыкновенно плохо ведут себя и плохо учатся. Но *особенно опасны они, когда наступает время половой зрелости.* Тут такого рода юноши сплошь и рядом совершают целый ряд проступков, а иногда и преступлений. Они живут для одной цели – доставить себе наслаждение, а какими средствами достигнуть ее – им это безразлично. Оно и понятно: “moral insanity” по своим проявлениям является возвратом к чисто животному эгоизму. Мне думается, что портрет больного, нарисованный наукой, довольно точно совпадает с портретом Грозного, нарисованным историей. Налицо у нас все нужные элементы. Напомню читателю еще раз невероятную повышенную нервную энергию Грозного, которая одна бы могла убедить нас в болезненном расстройстве его души. Муки пресыщения Грозный знал, но он знал и муки неудовлетворенности, то беспокойное, вечно тревожное состояние духа, которое так хорошо известно всем внимательно наблюдавшим душевнобольных. Эта предсердечная тоска – страшная вещь, человек мечется озлобленный, раздраженный, не зная, как утишить беспокойство своего духа, как забыться. Грозный утешался пытками.

Но он находился еще в исключительных обстоятельствах: он был царь, превосходивший объемом своей власти всех монархов Европы, кроме разве турецкого султана, и это также необходимо отметить, чтобы объяснить его ультражестокости. Как могла влиять на него среда? В детстве она систематически развращала его. Он попал в обстановку, где было гораздо больше самого откровенного и бесцеремонного холопства, чем героизма и строгости. Прославлявшиеся когда-то нравы XVI века отличались, как это теперь известно, большой распущенностью и сластолюбием. Зло окружало Грозного; следуя предрасположению, он впитывал его в себя, как воду губка, и

останавливался в служении ему – никогда неудовлетворенный, иногда лишь пресыщенный. Ему все покорствовало, как азиатскому деспоту. “If he bid any of his Dukes goe they woll run” – “если он приказывает кому-нибудь из бояр идти, они бегут”, как картинно выражается *Hakwyt.* Иоанн пользовался в России властью большей, чем какой-нибудь из современных ему правителей. На любовь, преданность, страх, лицемерие и холопство он отвечал одним презрением. Это тем естественнее, что “moral insanity” всегда сопровождается манией величия – “mania qrandiosa”, даже у обыкновенных смертных, что же говорить о смертных необыкновенных, поставленных, благодаря своему происхождению, в совершенно исключительные условия? Я упоминал уже о той искусственности даже, с какой Грозный хотел возвысить себя над окружающей его русской средой. Вероятно, искренно производил он свою власть от Августа, свой род – от выходцев римского императорского дома в Пруссии. Иногда он называл себя немцем.

Во всех этих странностях виновато не только особенное, неумеренно высокое представление Иоанна о собственной власти, но и отличительные черты его характера. Заметим мимоходом, что Нерон, римские цезари также чувствовали большое презрение к среде; особенно оно было ясно у Нерона, у которого также была артистическая натура. Грозный и в этом похож на него. Не глубокий, но проницательный ум, ловкий, иногда остроумный диалектик, человек, обладавший большой памятью, – Грозный, видя перед собой бояр, тяжелых умом и малоповоротливых, легко проникая в мелкие души, что и вообще-то нетрудно, ощущал постоянные приливы тщеславия, гордости, презрения. Его слабая голова не выдержала ни величия власти, ни внешнего блеска собственной натуры, ни удач, так щедро сыпавшихся на него в юности; он обоготворил себя, по крайней мере в собственном воображении. Это “боготворение” должно было постоянно проявляться. Оно и проявлялось, между прочим, и в той тяжелой мрачной подозрительности, которая под конец жизни Грозного превратилась в постоянную, назойливую мысль о мятежах, измене, преследованиях. Для этого больному уму совсем не надо было многих фактов, достаточно было *некоторых,* а они случались. Припомним бунт черни, измену и бегство Курбского и Вишневецкого, братьев Черкасовых. Грозный боялся и постоянно экспериментировал над преданностью окружающих.

Признавши “moral insanity”, мы тем самым устраняем трудный вопрос о силе и слабости воли Грозного. Воля – первое, что атрофируется при самых разнообразных формах душевного расстройства. Она необходимо слаба, хотя бы и являлась

“необузданной”. Аксаков совершенно справедливо заметил, что необузданная воля и отсутствие воли – то же самое, и различие между первой и второй половиной царствования Грозного сводится к различию между Сильвестром и Малютой Скуратовым.

Переходим теперь к вопросу о государственном значении царствования Грозного. Его внешней политике нельзя отказать в ширине размаха и блеске замыслов. Но я отказываюсь видеть в деятельности Грозного программу Петра Великого, о чем мне пришлось уже говорить раньше. Главным мотивом было честолюбие, заставлявшее Грозного добиваться польского престола, – честолюбие, которому льстили победы и связанное с ними унижение врагов. Грозный хотел играть роль в Европе, хотел, чтобы его признали великим и славным, но о том, чтобы обновить Русь через сближение с Западом, он не думал. Также мало он был демократом. В его царствование крепостное право сделало грандиозные успехи, а все демократические меры принадлежат тринадцатилетнему периоду правления, когда Сильвестр и Адашев значили все, а сам Грозный ничего не значил. Даже в борьбе с боярством, в своем стремлении к всеобщему нивелированию он не добился успехов. После его смерти боярство подняло голову и даже выше, чем до него. Конечно, завоевание Казани, издание “Судебника”, присоединение Сибири навсегда останутся блестящими страницами русской истории, но Грозный повинен в них как царь, именем которого все совершалось, и не как гений, которого мы можем восхвалять за прозорливость. Что бы ни говорили нам о блеске его правления, мы никогда не должны забывать о главном результате его. Этот результат – развращение народа.

Я согласен с тем, что Иоанн IV – центральная фигура русской жизни XVI века и вровень ему не идет ни неголюбивый отец его Василий III, ни малодушный сын Феодор, с особенным усердием исполнявший пономарские обязанности, во всем остальном положившись на Годунова. Царствование Грозного – это буря, пронесшаяся над русской землей с громом и молнией, но буря не освежающая, не такая, после которой должен начаться расцвет новой жизни, – а губительная, закончившаяся тяжелой эпохой Смутного времени. Личность царя и его эпоха исполнены драматизма, знакомясь с которым нельзя не чувствовать невольного трепета. Прежние русские люди смотрели на невиданные и неслыханные до той поры казни и жестокости, совершавшиеся то в глухих застенках, то открыто перед всей землей, как на испытание, посланное Богом за их грехи. Русь это испытание вынесла, но вышла из него не мощной и сильной, а развращенной в самом сердце своем. Ужасы монгольского ига,

выработавшие в русском характере такую приниженность, забитость, привычку пассивно отражать все беды, – были доведены Грозным до крайности. Умирая, он мог гордиться, что добился-таки своего. Все молчало, все несло на себе лицемерную или искреннюю маску смирения, все напоминало собою “пустыню духовную”, где не смело раздаться горячее, честное слово, не смело проявиться горячее, честное чувство. Но за этой покорностью таились дурные страсти: пшеница была вырвана, остались плевелы. И эти-то дурные страсти, выработанные в школе Грозного, открыто проявились в ту эпоху, когда тушинские и иные воры разорили Русь. Как государь Грозный совершил величайшее преступление: он развратил народ, уничтожая в нем все выдающееся, героическое, славное.

Источники и пособия

1. *Карамзин.* История государства Российского. Т. 7, 9.
2. *Соловьев.* История России. Т. 6.
3. *Костомаров.* История России в жизнеописаниях. Т. 1.
4. Статьи:

Погодина, Кавелина, К. Аксакова, Ю. Самарина, Н. К. Михайловского.

5. Ключевский. Боярская дума.
6. *Е.Былов.* Дворянство на Руси.
7. *Беляев.* История крестьян.

notes

Примечания

1

Разделяй и властвуй! *(лат.)*

2

Еще вероятнее, что Иоанн избранием Филиппа просто хотел удивить всех, так как никому и в голову ничего подобного не приходило. Эффект получился почти театральный

3

Елизавета прибавляет: “Upon your own change” – “На ваш собственный счет”... Расчетливая была особа

4

Чтил, почитал *(уст.)*

5

Древняя Новгородская область делилась на пятины, на пять частей *(словарь В. Даля)*

6

Принял великий ангельский образ, схиму (словарь В. Даля)